

ИСПОВЕДЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ

Davug Dar

Давид Дар

И С П О В Е Д Ъ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО
Ч И Т А Т Е Л Я

Издательство ТАРБУТ
Иерусалим, 1980

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждение 5
Речь, которую я хотел бы произнести у своего гроба 10
Стук наших копыт 35
Последняя любовь 45
Мой старый корабль 53
Победитель 59
Часовня в огне 67
Сеня Юшкин и злые собаки 85
Кувшин 90
Исповедь безответственного читателя. 94
Потоп	139

© Copyright D.Dar & "Tarbut" publishers,
P.O.Box 27166, Jerusalem.
Printed at "Express", Jerusalem.

“Это искренняя книга, читатель... Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги — доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и, благодаря этому, восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне... Мои недостатки предстанут здесь, как живые, и весь облик мой — таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике”.

Мишель Монтень

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Автор этой маленькой книжки считает своим долгом предупредить, что в отличие от вас, уважаемые читатели, он поразительно глуп. Я с уверенностью пишу: "в отличие от вас", потому что совершенно убежден, что если кто-нибудь и станет читать строки, написанные ниже, то это будут исключительно умные люди. Ведь не стал бы я писать для глупых! Разве глупые могут понять глупого? Глупого может понять только умный. А для глупых, как известно, пишут умные, чтобы глупые стали умнее. Но так как я понимаю, что от моей книжки ни один глупый умнее не станет, то мне остается писать только для умных.

Я не могу понять: является ли моя глупость врожденной, или же она благоприобретенная. Скорее — благоприобретенная, так как в раннем детстве, как мне сейчас вспоминается, я тоже знал, что человек, в отличие от, допустим, таракана, это звучит гордо, что слово "истина" означает именно истину, а не что-нибудь иное, и что разум заслуживает больше доверия чем сердце.

Но, по мере накопления книжных знаний и жизненного опыта, я постепенно стал глупеть и

к семидесяти годам поглупел настолько, что уже не мог понять самых простых вещей, которые понимает каждый ребенок.

Так что теперь я стал глупым, как камень, как облако, как трава.

Сначала сознавать себя таким глупым было как-то неловко, но потом я понял, что у камня, облака и травы есть большое преимущество перед человеком. Им не надо прикидываться умными и объяснять другим, почему люди с разным цветом волос мирно существуют друг с другом, чего нельзя сказать о людях с разным цветом кожи, разными идеями и разными религиями, предписывающими одним верующим, входя в храм Божий, снимать шапки, а другим — туфли.

Оставив попытки найти ответ на этот и на тысячи других подобных вопросов, я доживал свой шестой десяток, как старое дерево.

Политические бури шумели над моей седой кроной. Кровавые потоки всеобщей борьбы омывали мои корявые корни. Яркие дятлы долбили мою кору. Прелестные поэтические птички садились на мои ветви и, пропев песенку, улетали дальше.

Быть может, это была достойная старость, но мне почему-то стало скучно, а скука, как я заметил, не способствует долголетию. По этой причине я умер.

Я умер в России. От старости и скуки. Три года назад. Произошло это так: убедившись, что за свою долгую жизнь я совершил все, на что был способен, и что у меня не осталось больше никаких иллюзий и ни малейшей надежды улучшить нравы человечества, я понял, что на этом свете мне делать больше нечего и пора уступить свое место тем, кто моложе, а самому отправиться на Тот свет.

Я догадывался, что своими книгами не заслужил благосклонного некролога, и поэтому сам написал речь, которую хотел бы произнести у своего гроба, и, собрав всех родных и друзей в одном из ресторанов Ленинграда, я прочитал эту речь под звон бокалов и всхлипывание родственников.

На этом прощальном вечере было выпито в мою честь так много вина и произнесено так много тостов, что домой меня принесли на руках полумертвого; принесли два не более меня живых друга и, уложив мое тело на диван, они тут же свалились и сами.

Так я покончил счеты с жизнью и стал ждать смерти.

Я ждал смерти день, два, неделю, месяц, год, два, три года. За это время умерла моя жена, ужасно боявшаяся смерти; умер один из моих дружков — прелестный восемнад-

цатилетний мальчик, мечтавший о подвигах и славе. В расцвете зрелости и сил умер мой замечательный коллега, справедливо завоевавший славу, но не успевший вкусить ее плодов. А я все еще ждал смерти.

Ничего так не старит, как ожидание.

Пока я ждал смерти, я совсем состарился. От макушки до пят оброс седой бородой, а там, где не росла борода, сморщился как сушеный гриб и стал похож на праотца нашего Авраама, если бы он, конечно, дожил до нашего времени.

Иногда мне хотелось по-прежнему сходить на писательское собрание или посидеть с друзьями в кабаке, но я представлял себе, как отнесутся в кабаке или на собрании к древнему, седому и сморщенному праотцу Аврааму, заросшему бородой и преданиями; как обсядут и обступят меня, желая почерпнуть что-нибудь из вечного родника моей мудрости, и как мне придется юлить и вывертываться, пытаюсь скрыть от потомков, что стариковской мудрости грош цена, что она так же слепа, как буря в небе, как трава в поле, как младенец в колыбели.

И тогда я принял решение больше не медлить и добровольно уйти из этого света на Тот свет, иначе говоря, подать заявление в ОВИР, купить билет на самолет и улететь в край моих предков и сверстников, в знойный край Адама

и Евы, сыновей их Авеля и Каина и потомков,
начиная от Сарры и Авраама и кончая Голдой
Меир и Менахемом Бегинном.

Так я и сделал.

Теперь я живу на Том свете.
Но это уже совсем другая жизнь.
И совсем другая книга.

Иерусалим.

1980 г.

РЕЧЬ, КОТОРУЮ Я ХОТЕЛ БЫ ПРОИЗНЕСТИ У СВОЕГО ГРОБА

1

Сегодня вы хороните одного из самых счастливых стариков на свете. Мое счастье заключалось в том, что я не поверил ни Жан-Жаку Руссо, ни Карлу Марксу, ни Ленину, будто каждый человек имеет право на хлеб, труд и счастье, на свободу, равенство и братство. Когда я родился на свет, я не ставил никому никаких условий, и мне никто ничего не обещал, как никто ничего не обещает ни новорожденному таракану, ни новорожденному щенку, ни новорожденному льву.

Поэтому я ни от кого ничего не требовал: ни от природы, ни от общества, ни от родных, ни от друзей.

И, может быть, именно по этой причине мне всегда очень везло. Мне везло в детстве: я не был ни беспризорником, ни золотушным, ни заикой. Мне везло в юности: я не заразился триппером, не связался с хулиганами, не стал пьяницей. Мне везло на войне: я не был убит, не попал в плен, и мне не отрезали раненую но-

гу. Мне везло и после войны: меня не объявили врагом народа, моя дочь не стала проституткой, и в шестьдесят лет у меня еще не было ни рака, ни инфаркта.

Каждый вечер я говорил себе:

— Просто даже удивительно, если подумать, сколько у меня могло быть сегодня неприятностей. Я мог попасть под травмай, у меня могли вытащить бумажник, продавщица в магазине могла мне нахамить. А у меня все, слава Богу, благополучно. Ну, и повезло же мне сегодня!

И, весьма довольный жизнью, я прятал в дальний ящик стола отвергнутую редактором рукопись, обдумывал, где бы достать на завтра денег, глотал валидол, принимал снотворное и, кряхтя от ревматизма и астмы, готовился заснуть, радуясь тому, что у меня есть крыша над головой, одеяло над животом, подушка под затылком и что мне так везет в жизни.

Мне не повезло только один раз, позавчера, когда я умер. Но и это нельзя считать таким уж большим невезением, потому что и смерть имеет свою положительную сторону. Во-первых, она навсегда избавила меня от страха смерти, и только теперь, два дня назад, я как бы сбросил с себя груз, который всю жизнь тяготил меня чрезвычайно. Во-вторых, мне сейчас лучше, чем вам, хотя бы уже потому, что мне больше ничего не грозит в жизни, а вам, к сожалению, кое-

что еще грозит своим костлявым пальцем, и я могу свободно шутить по поводу своего единственного невезенья, которое уже осталось в прошлом и стало для меня как бы пройденным этапом, в то время как вам вряд ли хочется шутить по поводу той неотвратимой беды, которая вас ожидает в будущем и которая значительно страшнее, чем моя беда, так как каждая еще несовершившаяся беда страшнее, чем беда, уже свершившаяся. Из этого я делаю весьма оптимистический вывод, что каждую случившуюся беду следует рассматривать как удачу. И не только потому, что она уже осталась в прошлом, но еще и потому, что как бы она ни была велика, но могла быть еще больше.

2

Между прочим, именно это рассуждение очень помогало мне жить всегда, с самого детства, вернее с того дня, когда я узнал, что меня оставили на второй год в шестом классе. А оставили меня на второй год потому, что я плохо учился. Почему я плохо учился, я не помню, но отлично помню, что учился так плохо, что меня вполне могли бы совсем выгнать из школы.

Я пришел в тот день домой весьма довольный.

— Чему ты так радуешься? — спросила меня моя добрая мама, когда я сообщил ей, что меня оставили на второй год.

— Как ты не понимаешь? — удивился я. — Ведь меня вполне могли выгнать из школы. Теперь ты поняла, как мне повезло?

Но она не поняла этого и не понимала до тех пор, пока меня действительно не выгнали из школы. А выгнали меня уже из девятого класса за то, что я во время урока нагрубил нашему славному учителю биологии.

Большой, толстый и добродушный, он стоял перед нами в классе и, разводя свои могучие ручки, радостно объяснял, что человек создан не по образу и подобию Божьему, как написано в библии, а по образу и подобию любого млекопитающего, например, собаки или мышки.

Хотя я нисколько не сомневаюсь и не сомневался тогда, что Бога не существует, и потому у него нет образа, а следовательно, не может быть и подобия, но я вовсе не желал, чтобы Рита Бархатова, прелестная девочка, которую я каждый день провожал из школы, читая ей по дороге стихи, которые сам написал, и рассуждая с нею о Канте, Спинозе и Фрейде, которых сам не читал, увидела во мне подобие собаки и особенно — мышки. Быть подобием мышки казалось мне унижительным, тем более, что в шестнадцать лет, так же, впрочем, как и в

шестьдесят, я считал себя личностью единственной в своем роде, отличающейся от всех других личностей, которые существовали прежде, существуют сейчас и будут существовать после меня. Так же, наверное, как и вы, я чувствовал особое, ни с чем не сравнимое значение своей личности в окружающем меня мире, и только такое уважение к себе побуждало меня писать стихи, рассуждать о Канте, Спинозе и Фрейте и считать заслуживающими внимания те мысли, которые приходили мне в голову.

Но какое уважение может быть к подобию мышки? Сравнение с мышкой оскорбляло мое чувство собственного достоинства, и я вежливо высказал это нашему славному учителю биологии. Но, когда он радостно продолжал клеветать на меня, на себя, на вас и на всех других людей с таким видом, будто сообщал нам нечто весьма приятное, я счел себя обязанным выступить в защиту человечества и, по причине своей юношеской неопытности, выступил так неудачно, что меня, как вам уже известно, выгнали из школы.

В тот день я вернулся домой чрезвычайно довольный.

— Чему же ты так радуешься? — спросила меня моя добрая мама, когда я сообщил ей, что меня выгнали из школы.

— Как ты не понимаешь? — сказал я. — Ведь меня за хулиганство могли направить в коло-

нию, а меня только выгнали из школы. Теперь ты поняла, как мне повезло?

И мама, надо отдать ей справедливость, поняла всю мою несовершеннолетнюю мудрость и махнула на меня рукой, и с тех пор ее жизнь стала легкой и светлой, и никакие беды не могли омрачить ее старость.

3

Но моя юность с тех пор была омрачена. Не тем, конечно, что меня выгнали из школы, а тем, что я поверил нашему славному учителю, будто человек создан по образу и подобию мышки.

Сначала я даже обрадовался этому и считал, что нам с вами очень повезло, полагая, что если бы мы были созданы по образу и подобию червяка или, скажем, таракана, то было бы еще хуже. Но позже я заметил, что, встречаясь с Ритой Бархатовой, споря с товарищами или даже просто гуляя по улице, я почему-то старался скрывать от других, что создан по образу и подобию мышки. Но скрывать это мне становилось все труднее, потому что вдруг я потерял былую красноречивость, стал каким-то суетливым и юрким и даже раза два или три пытался вильнуть хвостиком, которого у меня не было.

Правда, иногда еще, сочинив новые стихи или намереваясь прочитать философский трактат

тат Гегеля, или поразив остатками своего красноречия Риту Бархатову, я чувствовал, что в мою несовершеннолетнюю душу вливается горделивое чувство значительности, но в тот же самый миг появлялась мысль, что, быть может, такое же горделивое чувство своей значительности испытывает и мышка, когда ей удастся стащить со стола кусочек хлеба. И от этой мысли сразу же горделивое чувство выливалось из моей души обратно, и мне не хотелось больше ни писать стихов, ни читать Гегеля, ни поражать остатками красноречия Риту Бархатову; не хотелось даже учиться или работать, а хотелось только лежать на диване в своей норке, слушать радио и таскать со стола кусочки хлеба.

Некоторое время я так и жил: не учился, не работал, не писал стихов, не читал книг, не встречался с Ритой Бархатовой, а только весь день лежал на диване в своей неприбранной норке и таскал со стола кусочки хлеба, размышляя о том, что, по-видимому, мышку, по образу и подобию которой я создан, нисколько не терзают никакие сомнения, так как она довольно весело виляет хвостиком. А мне это, увы, почему-то не удается, и что-то меня в такой жизни не устраивает.

Озабоченный этим весьма грустным для юноши обстоятельством, я однажды дождался возле школы нашего славного учителя, кото-

рый шел домой, сдвинув на затылок шляпу и весьма довольный жизнью. Я принес ему, свои извинения за то, что случилось в школе, и спросил:

– Скажите, пожалуйста, а вас самого насколько не смущает, что вы созданы по образу и подобию мышки?

– Нисколько, – бодро ответил он.

– А меня это смущает, – признался я. – Я как-то не могу увидеть в мышке личность.

– А зачем мышкам личность? – спросил он. – Они и без личности прекрасно живут, если только в доме нет кошки.

– Но почему же, в таком случае, я попробовал жить как мышка, и мне это совсем не понравилось, хотя у нас в доме и нет кошки?

– Очень просто, дружок, – весело ответил он. – Потому что во всемирной гармонии мышке предназначена одна роль, а тебе – другая. Мышке предназначено скрестись под полом, таскать со стола кусочки хлеба и опасаться кошек. И, выполняя свое назначение, она вполне довольна. А тебе, мой дружок, предназначено работать, влюбляться, писать стихи и опасаться дурных соблазнов. И если ты станешь выполнять свое назначение в мировой гармонии, то можешь быть уверен, что будешь довольным, как мышка.

Поблагодарив своего славного учителя, я поспешил устроиться на работу, переехал в общежитие, еще сильнее влюбился в Риту Бархатову, стал писать не только стихи, но и рассказы, а что касается дурных соблазнов, то я просто бежал от них во всю мочь, чтобы тем самым выполнить свое назначение в мировой гармонии и стать довольным, как мышка.

Но должен признаться, что, хотя я и выполнял свое назначение на все сто процентов, стать довольным, как мышка, мне не удалось, потому что, встречаясь с Ритой Бархатовой и спеша поделиться с нею своими чувствами, мыслями или стихами, я вдруг задавал себе такой вопрос: а какое значение имеют мои чувства, мысли и стихи, если я выполняю свое назначение в мировой гармонии совершенно так же, как выполняет свое назначение любая мышка в подвале, любая песчинка в пустыне, любая капелька в океане? И если Рита Бархатова никогда не узнает ни моих чувств, ни моих мыслей, ни стихов; если никто их никогда не узнает, если даже я завтра умру, то мировая гармония от этого вовсе не будет нарушена, так как любую песчинку в пустыне и любую капельку в океане заменит другая песчинка и другая капелька, и любую мышку может заменить другая мышка, а следовательно, и любого человека может заменить другой человек. Но такая взаимоза-

меняемость всех людей как-то не вязалась с моим ощущением своей личности и не оправдывала того значения, которое я придавал своим чувствам, мыслям и сочинениям. И тогда, незаметно вильнув хвостиком, я торопливо простался с Ритой Бархатовой и возвращался в общежитие, думая о своей малости по сравнению с грандиозной мировой гармонией.

Но комендант нашего общежития был человек бдительный и уже издали замечал, если кто-нибудь о чем-либо думал.

— Что, брат, опять думаешь? — как-то спросил он, остановив меня в коридоре.

— Думаю, — признался я.

— То-то и видно по морде, что думаешь, — сказал он. — А о чем это, интересно, тебе думать? Пусть думают те, кто на капиталистов работают, а за нас с тобой Маркс и Энгельс обо всем подумали, и нам теперь надо не раздумывать, а засучив рукава, строить свое светлое будущее.

Он стоял передо мной, широкоплечий, плотный и красномордый, как кирпич.

— Маркс и Энгельс за себя подумали, а не за меня, — сказал я.

— Как так? — спросил он.

— А так, — ответил я. — Почему-то, когда другой ест, я не наедаюсь, когда другой спит, я не высыпаюсь, а когда другой дума-

ет, мне все равно думается самому. И вот, я думаю: наверное, все-таки было бы лучше, если бы я знал, что создан по образу и подобию Божьему.

— Интересно, чем бы это тебе, дураку, было бы лучше? — сказал комендант. — Вот я одним общежитием управляю, и то ни днем ни ночью покоя нет, так я хоть за это зарплату имею: когда пиво выпьешь, когда в кино сходишь. А Господь Бог должен целым миром управлять, и что он за это получает? Одни молитвы! А одними молитвами, брат, сыт не будешь... А ты живешь — забот не знаешь. Постель у тебя, слава богу, чистая, государство тебя поит и кормит, профессия у тебя отличная, не понимаю, чего тебе еще не хватает.

— Чувства собственного достоинства, — сказал я. — Величия. А какое же может быть величие, если я создан по образу и подобию мышки?

— Мышки? — удивился комендант. — Это какой же дурак тебе сказал, что человек создан по образу и подобию мышки? Человек создан по образу и подобию кирпича. Вот тебе и величие!

— Кирпича? — спросил я. — Вы не ошибаетесь?

— Именно кирпича, — ответил он и гордо выпятил свою могучую грудь. — Давай, сбегай за пивом, и я тебе все объясню.

И когда я сбегал за пивом, и мы сидели в казенной комендантской комнате, он произнес целую речь.

— Ты говоришь, что Господь Бог создал вселенную и в этом его величие. Пусть будет так, — сказал он. — Но люди, брат, тоже создали немало. Они возводят грандиозную башню прогресса и цивилизации, они создали небоскребы и самолеты, телевизоры и застежки-молнии, а башня все растет и растет, приближая человечество к нашему прекрасному будущему. И сложена эта башня из кирпичей, таких вот, как ты и я. Стоим мы с тобой как бы на плечах наших предков, а на нас с тобой взберутся наши потомки. Осознай себя кирпичом в грандиозной башне цивилизации, взгляни с вершины этой башни на наших предков, которые бегали по улицам без штанов, в одних звериных шкурах, вот и почувствуешь свое величие.

— Осознать себя кирпичом я попробую, — сказал я, — только как быть с моей личностью? Зачем кирпичу личность?

— А как же, — ответил комендант, допивая пиво, — личность, брат, в нашем деле — самое главное. Вот ты представь себе, если бы мой батяка меня ремнем не лупил? Так я, может быть, до сих пор был бы дурак-дураком. А благодаря его личности я вполне цивилизованный человек: за столом не рыгаю, сморкаюсь в платочек, тебя, дурака, учу уму-разуму, чтобы ты

был еще цивилизованнее. Так что, ни в чем не сомневайся, упирайся пятками в предков, содействуй по мере сил прогрессу цивилизации, и тогда все станут тебя уважать, и тебе будет хорошо и спокойно, как кирпичу в стене.

И, допив пиво, он поглядел на меня с торжествующей усталостью самодовольной мудрости, а я пожелал ему спокойной ночи и попробовал осознать себя подобием кирпича. Не скажу, чтобы это доставляло мне особую гордость, но кое-как с этим можно было примириться, потому что быть подобием кирпича все-таки больше соответствовало моему чувству мужского достоинства, чем быть подобием мышки.

5

Я точно выполнил совет мудрого коменданта: уперся пятками в предков и старался по мере своих молодых сил содействовать прогрессу цивилизации.

Содействовать прогрессу оказалось не так-то просто. Для прогресса науки я был совершенно бесполезным кирпичом, потому что, как вам уже известно, учился плохо, и меня выгнали из школы. Прогресс техники тоже вполне обходился без моего участия по той причине, что я никогда не умел отличить гаечку от шайбочки и болтик от винтика. Что же

касается моих сочинений, которые могли бы содействовать прогрессу нравов, то я ни разу не заметил, чтобы мой дружок Васька Тимофеев, отъявленный матерщинник и пьянчужка, который за всю свою жизнь не прочитал ни одной хорошей книжки, но единственный во всем общежитии признавал мой талант, так вот, я ни разу не замечал, чтобы Васька Тимофеев стал после моих стихов меньше матюгаться или отказался от лишней стопки водки.

Но, несмотря на все эти обстоятельства, я не унывал, потому что главное достоинство кирпича — это его твердость. И я, действительно, был тверд и крепок и, упираясь пятками в многотомные кирпичи, купленные в магазине "Старая книга", писал сочинение за сочинением, пока их не стали печатать, и я постепенно стал превращаться в довольно солидный и тяжеловесный кирпич, так что, завидев где-нибудь еще совсем молоденький и неокрепший кирпичик, даже зазывал его: "Не хочешь ли, сынок, я поделюсь с тобой опытом и подсажу тебя на башню цивилизации? Давай, сынок, забирайся ко мне на плечи, упирайся в меня пятками, содействуй прогрессу, приближай прекрасное будущее".

Но Васька Тимофеев, так и не прочитавший до сих пор ни одной хорошей книжки, но все больше и больше восторгавшийся моими сочинениями, по-прежнему матюгался и пил водку,

как сапожник, так что никаких признаков прогресса его нравственности, так же как и прогресса нравственности всего человечества, в результате моего творчества я что-то обнаружить не мог.

И, может быть, именно по этой причине, то есть из-за Васьки Тимофеева, мне как-то не удавалось гордиться башней прогресса и цивилизации, и я не мог почувствовать своей личной значительности и приобрести чувство собственного достоинства от того, что кто-то другой изобрел застежки-молнии и кто-то другой написал "Медного всадника".

6

Озабоченный этим, довольно печальным для солидного кирпича, обстоятельством и размышляя о том, чего мне недостает, чтобы стать вполне счастливым, я как-то поделился своими размышлениями с профессором Бубликом, который, как вам известно, знает все на свете, вернее, знает, как все было, как все есть и как все будет, не зная только, почему и зачем все было, все есть и все будет, и от этого его обстоятельные и весьма убедительные знания располагались как бы по периферии, по окружности, оставляя посредине зияющую дырку, которую нельзя ни проверить, ни доказать, ни опровергнуть.

— Я чего-то не могу понять, дорогой профессор, — сказал я ему, — чего мне не хватает, чтобы быть вполне счастливым?

— Идеюности, — ответил он. — Как же можно быть вполне счастливым, если вы ни за что не боретесь?

— А за что мне следует бороться? — спросил я. — Ведь башня прогресса и так растет к нашему прекрасному будущему.

— В этом-то все и дело, — сказал профессор. — Куда она растет и где находится прекрасное будущее? Вот тут не обойтись без борьбы идей. Одни считают, что башня должна расти вверх, что прекрасное будущее там. Другие считают, что башню следует повернуть влево. Третьи — что вправо. А некоторые даже думают, что башня должна расти не вверх, а вниз, к нашему прекрасному прошлому.

— Отлично, — сказал я, — но направление прогресса и цивилизации вовсе не зависит от меня. Что может сделать один человек, тем более созданный по образу и подобию кирпича?

— Кирпича? — удивился профессор. — Какой дурак вам сказал, что человек создан по образу и подобию кирпича? Человек создан по образу и подобию дроби!

— Дроби? — спросил я. — Вы не ошибаетесь?

— Именно дроби, — уверенно ответил он. — Простой дроби. Вот, например, я — это одна двухсоттысячная часть ученых, которые счи-

тают, что башню надо повернуть влево. Одна двухсоттысячная — разве это не внушительно? Но, кроме того, я еще и одна трехмиллиардная часть всего человечества, которое борется за лучшее будущее. Вы только представьте себе: нас — три миллиарда. Это грандиозно! Наша сила и наше величие в знаменателе. Вообразите себя подобием дроби, и ваша жизнь станет ясной и величественной, как трижды пять — пятнадцать!

”Ну что ж! — подумал я. — Если профессор прав, и все мы созданы по образу и подобию дроби, то можно считать, что нам еще весьма повезло, потому что мы могли бы быть созданы по образу и подобию извлечения из корня или возведения в степень, чего представить себе я уже совсем не способен”. И утешенный этим обстоятельством, я стал жить как простая дробь, пытаясь черпать чувство собственного достоинства в своем знаменателе.

Правда, осознав себя одной четвертой частью своей семьи и борясь с соседями, не выключавшими свет в коридоре, или же осознав себя одной восьмой частью жильцов нашей квартиры и борясь за то, чтобы в уборной поставили новый бачок, я не испытывал особой гордости; но стоило мне осознать себя одной стопятидесятимиллионной частью граждан своей страны и ринуться в борьбу с гражданами другой страны, как я почувствовал, что

мой знаменатель поднял меня на головокружительную высоту и придал особую значительность моим поступкам и сочинениям, которые зазвучали теперь как бы не только от моего имени, но и от имени всех граждан моей страны.

Иногда в моей памяти всплывало туманное воспоминание о школьной арифметике, и тогда я с огорчением догадывался, что чем больше мой знаменатель, тем меньшую долю составляет мой жалкий и неизменный числитель, и поэтому поступки и сочинения человека, созданного по образу и подобию дроби, следует считать не столько значительными, сколько знаменательными. Но черпать чувство собственного достоинства, кроме как в этой знаменательности, мне было негде, так что я настолько привык считать себя представителем, частью или долей чего-то, что, думая о себе, научился как-то совсем не замечать своего числителя и как бы сливаться со своим знаменателем. И поскольку я принадлежал к человечеству, то иной раз горделиво заявлял: "Мы уже покорили небо", а поскольку принадлежал к сочинителям, то однажды чуть не сказал: "Мы уже написали "Братьев Карамазовых".

7

Так, в роли ничтожного числителя, опирающегося своими короткими ножками на мощ-

ный знаменатель, я прожил до тридцати лет, неизменно ощущая, как, быть может, ощущают и некоторые из вас, мучительное противоречие между тем, что в моей жизни моя личность имела такое громадное, грандиозное значение, а в жизни всего человечества ее значение было не больше, чем значение мышки в подвале, кирпича в башне или числителя в знаменателе.

Но все изменилось в тот день, когда я оказался на смертельном пяточке, где скорчился в тесном окопе, ожидая сигнала к атаке. Это должна была быть седьмая атака в тот день, и за бруствером окопа лежала изрытая снарядами, пулями и солдатскими сапогами земля с обуглившимися обрубками деревьев, и была она почти сплошь покрыта серыми бугорками; некоторые из них еще шевелились, иные стонали, но многие уже окоченели и были как бы частью этой черствой и страшной природы. И самое странное: я понимал, что эти бугорки еще недавно были живыми людьми, такими же, как я, но это понимание погасало на пути от моего сознания к сердцу и сердца почему-то не достигало: не будило в нем ни жалости, ни сочувствия, будто эти бугорки на земле были не убитыми людьми, а убитыми цифрами.

Рядом со мной, почти прижавшись ко мне, ждал начала атаки молоденький солдатик, совсем еще мальчик. Я не знал ни фамилии его, ни имени, только видел, что из-под каски на его

мокрый от пота лоб спадала маленькая прядка волос; большие, какие-то нелепые руки, какие бывают у подростков, все время дрожали так, что он не мог даже закурить, а в глазах была такая тоска, такая беспомощность, такое отчаяние, что я чуть не захлебнулся от нежности и сочувствия. И вдруг он показался мне одиноким и беспомощным числителем без знаменателя.

И в атаке он тоже не отставал от меня ни на шаг: когда я бросался на землю, он падал рядом; когда я поднимался, он вскакивал тоже. Но однажды он не поднялся, я схватил его за руку — рука была, как ватная. Я хотел обхватить его, но как будто вдруг наткнулся со всего размаха на стену и, оглушенный, полетел вместе с ним в какую-то бездну.

Потом я пришел в сознание, почувствовал боль, огляделся, понял, что нахожусь в яме, в крови, что кто-то лежит рядом. И вдруг, сильнее, чем боль и страх, меня пронзило внезапное небывалое озарение: только что меня не было, и вот я опять есть, опять живу сверх положенного мне срока, пусть без ног или рук, пусть в яме, пусть жизнь мне дана хотя бы только на одну минуту, но и это — великое счастье, потому что ко мне вернулась моя жизнь, единственное, что принадлежит только мне, мне одному; и еще я почувствовал, что я вовсе никакой не числи-

тель, не часть чего-то, а целое, неделимое и неумножаемое, что даже моя боль — она настолько моя и только моя, что и слов таких не придумано, чтобы можно было ее передать другим. И это ощущение своей жизни как чего-то не укладывающегося ни в какие рамки и масштабы, это ощущение своей жизни, одно мгновение которой значит для меня больше, чем тысячелетия жизни всего человечества, ослепило меня таким ярким пламенем какого-то долгожданного и счастливого познания, что света его хватило до моего последнего дня.

Потом я снова погрузился в беспамятство, а когда пришел в себя, был уже вечер, очень холодно. Я чувствовал, что весь в крови. Я потянулся к тому, который лежал рядом, нащупал рукой его окаменевшее лицо, и вдруг жалость к этому мальчику, невозможность примириться с его смертью вырвались из моей груди волчьим воем горя. И снова — внезапное озарение, иное, чем прежде, но такой же силы, разорвало какую-то пелену, и я почувствовал, что смерть одного страшнее и ужаснее, чем смерть тысяч и миллионов, что есть масштаб разума и масштаб чувства, и что прежде я измерял мир не подлинным, а ложным масштабом, порождением холодного и бесстрастного разума, а не живого и горячего чувства. Я поразился, какую искаженную картину мира создал мой

разум, внушавший мне такой абсурд, будто небольшая гора, на которую мне предстоит подняться, ниже Эвереста, который находится вдали от меня; будто эпидемия, истребляющая целый народ, страшнее и ужаснее, нежели болезнь одного ребенка, мечущегося в жару и бреду. Пусть любая мать спросит у своего сердца: не так ли это? И ее сердце ответит: так!

Захлебываясь от горя и боли, мое сердце торопливо шептало, что по его масштабам, масштабам чувства, один человек — это больше, чем все человечество, что все мучившие меня прежде вопросы о смысле и цели жизни, не разрешимые в масштабах всего человечества, разрешимы только в масштабах одного, каждого человека... Но я не успел додумать этого, потому что снова подо мной разверзлась бездна, и все кончилось.

Третий раз жизнь возвращалась ко мне постепенно: сначала из мрака появились звезды над головой, потом какое-то багровое, будто налитое черной кровью, облачко, потом — приклад винтовки, повисший на краю ямы.

По мере того как возвращалось сознание, восстанавливалась вселенная, которой только что для меня не существовало. Она появлялась из ничего, из небытия, как в первый день творения: небо, земля, война, убитый солдатик, мои дети, мать, книги... Вселенная наполнялась, как будто я сам создавал ее из того, что

знал, чувствовал, помнил, воображал, и вдруг, в третий раз за этот день, новое озарение, не то, что было в первый раз, и не то, что второй, но такой же или даже еще более мощной силы залило всю мою дальнейшую жизнь небывалой яркостью.

Я увидел, что та вселенная, в которой я живу, создана мною самим, как и та вселенная, в которой живет каждый другой человек, создана им самим. В моей вселенной существует только то, что я знаю и чувствую, а чего не знаю и не чувствую, о чем не догадываюсь и чего не могу себе представить, того не существует для меня вовсе, как не существует для меня Петра Петровича Петрова потому, что я никогда его не встречал, не слышал о нем, не читал, в отличие от моего славного пьянчужки Васьки Тимофеева — он несомненно живет на свете, этот самый честный и преданный мне друг, и хотя кто-то, может быть, считает его негодяем, способным предать меня за стопку водки, но я этого не знаю, и потому нет такого негодяя в моей вселенной, которого звали бы Васькой Тимофеевым.

Я изумился божественной силе своего творения, изумился тому, что сумел создать планеты и звезды, землю и океаны, добрые стада деревьев и звонкие ручьи, и неугасимую лампаду человеческого духа, и преданного друга Ваську Тимофеева, и горы, и

города, и птиц, и врагов своих, и мудрецов, и негодяев.

Я чувствовал себя величественным как Бог и таким же величественно-беспомощным: кого я мог судить, кому жаловаться, у кого просить или требовать, если все было создано мною, и все было только во мне: и горести мои, и радости, и свобода, и неволя?

И за все я один был в ответе: за всех негодяев, за все войны, за всю ложь, за все зло.

Вы, пожалуйста, простите меня за то, что я не мог создать вселенную получше: без негодяев, без войн, без лжи и зла. Этого не мог сделать и сам Господь Бог, которого я создал силой своего воображения, чтобы затем он создал меня по образу своему и подобию. А мы с ним очень старались, уж поверьте. Но, к сожалению, у меня, как и у него, не было никаких прав, а были только обязанности, и с этим ничего не поделаешь.

Обязанности были неотделимы от меня, как руки, как ноги или уши, независимо от того, нравились мне они или нет. Всю жизнь я нес на себе груз моих обязанностей, не ожидая за это никакой награды, как вы не ждете награды за то, что всю жизнь несете свои волосы на голове и свою голову на плечах. И, может быть, по этой причине мой груз казался мне легким и веселым. И хотя он таял в воздухе, как тает дымок моей трубки, и я знал, что через корот-

кое время от него не останется в мире никакого следа, но знал также, что есть на свете три или четыре человека, которые, втянув в себя этот едва заметный, пряный и горьковатый дымок, чувствовали себя в моей неуютной вселенной хоть чуточку уютней и уверенней. И этого мне было достаточно, чтобы считать себя очень счастливым стариком, потому что, по масштабам моего сердца, три или четыре человека — это больше, чем три или четыре миллиона.

**Ленинград.
1960 г.**

СТУК НАШИХ КОПЫТ

Вы были похожи на двух бездомных кошек, которые бредут куда-то под дождем по опустевшей городской улице — мокрые, жалкие, одинокие. Так и ты со своей девчонкой бродил весь тот день по улицам, бродил без дела, без денег, без цели; простуженный, озлобленный и несчастный. И когда я увидел в дверях твое отчаянное лицо и вызывающие нестриженные черные волосы, мокрые от дождя, и глаза, всегда окрашенные неисчерпаемой семитской скорбью, я прежде всего подумал, как бы не сделать какого-нибудь опрометчивого шага и не обидеть тебя своей безответственностью или безответностью.

— Вот и я, — сказал ты, войдя в мою комнату, и втащил за руку свою девчонку, маленькую и жалкую, тоже простуженную и шмыгающую носом. — Говорил, что больше не приду, а пришел, — сказал ты, — можете выгнать, если не рады: не обижусь. Никого не хочу видеть, и вас тоже не хочу, просто деваться некуда, вот и пришли к вам.

В каждом твоём слове звучало желание обидеть и просьба о пощаде. Я хотел тебе что-то сказать, но ты отмахнулся:

— Молчите уж, заранее знаю все, что скажете!

И верно ведь, что я мог сказать тебе такого, чего уже не говорили до меня другие?

Я понимал, что тебе сейчас очень плохо и тяжело, так плохо и тяжело, как бывает только в шестнадцать или семнадцать лет; что весь мир кажется тебе враждебным и чужим, потому что в глубине души ты чувствуешь себя человеком исключительным, выдающимся, быть может, даже гениальным, но никто в мире этой твоей исключительности не понимает, да ты и сам не знаешь и не можешь понять, в чем она состоит — эта твоя исключительность, и ей нет в твоей жизни никаких подтверждений: никого ты ни в чем не опередил, и талантов никаких не обнаружил, и в школе учишься плохо, и все свои поступки совершаешь как бы наперекор ей, этой своей исключительности, наперекор всем окружающим, наперекор самому себе; и все тебя осуждают, только одна она, твоя жалкая, сопливая девчонка, она одна не осуждает тебя, будто догадываясь — хотя не может об этом догадываться, — что твои судороги, это судороги человека, еще не запиханного в клетку, еще не загнанного в стадо; будто догадываясь, что пройдет немного времени и эти судороги кончатся, и ты придешь ко мне однажды счастливый и уверенный и скажешь:

— Наши считают, что моя идея...

И ты пришел ко мне однажды, счастливый и уверенный, и сказал:

— Наши считают, что моя идея...

И хотя я еще не знал, что считают "наши" по поводу твоей идеи, но почувствовал, что не могу запихать тебя ни в клетку "наших", с которыми я дружу, ни в клетку "не наших", с которыми я вражду, ни в клетку евреев, хотя ты родился евреем, ни в клетку русских, хотя ты вырос среди русских, ни в клетку рабочих, хотя отец устроил тебя на завод, ни в клетку интеллигентов, хотя ты читаешь Монтеня и Стерна, ни в клетку атеистов, хотя ты не веришь в Бога, ни в клетку верующих, хотя ты веришь в предначертанность своей судьбы.

Я не мог расчленил тебя на части или разобрать на детали, как разбирают радиоприемник или автомобиль, чтобы каждую твою часть втиснуть в соответствующую ей клетку. Если бы я попытался это сделать, то мне пришлось бы запихать в клетку всего тебя целиком, сдавливая и сплющивая, ломая и калеча твои ребра, руки и ноги, пока ты не превратишься в отвлеченное понятие "еврей", "русский", "рабочий", "интеллигент", "атеист", "верующий"; в отвлеченное понятие, которое, подобно мертвой цифре, удобно для сложения, вычитания, умножения и деления, но лишено тревоги твоих матовых глаз, трепета твоего ломкого голо-

са, смятения твоих мыслей, энергии твоих длинных пальцев. В моем представлении ты существуешь единый, неделимый и грандиозный как вселенная и настолько превосходишь свою национальность, свое гражданство, социальное положение и свои идеи, насколько громадная лестница превосходит каждую из своих ступеней.

Я хотел бы увести тебя подальше от этого странного зверинца, где все люди рассортированы по клеткам, а тот, кто еще бродит на свободе, какой-нибудь шестнадцатилетний юнец, чувствует себя сиротливым и беззащитным, пока ему не удастся втиснуться в одну из клеток или пристать к одному из стад, которые пасутся на щедрых пастбищах нашей планеты: к стаду евреев или к стаду русских, к стаду рабочих или к стаду интеллигентов, к стаду атеистов или к стаду верующих.

Но мне некуда было увести тебя, потому что и сам я пасусь с одним из стад. Мое стадо не хуже других, а иногда мне даже кажется, что оно лучше других. Благородное знамя нашего стада обагрено кровью тех, кто отдал за него жизнь. Неумолкающая дробь барабана неутомима, как стук сердца. От топота наших копыт содрогаются горы.

В стаде спокойно и безопасно: куда все, туда и ты. Никакой личной ответственности, ни-

какой обременительной свободы. В каждом стаде есть вожак, есть традиция, есть знамя и есть барабан. И барабанщиком там — идея.

Идеи поджидали тебя на каждой книжной странице, в разговоре с учителями и товарищами. Они были обольстительны, как девушки. Одна прелестнее другой. И все они нашептывали тебе: "Я ждала только тебя, только ты мне нужен, мой мальчик! Ты будешь моим рыцарем, верным до гроба. Ты будешь мне прислуживать у стола и у плахи, и мое славное знамя будет всегда развеваться над тобой. Посмотри на великих писателей, на мудрецов и ученых, — нашептывали тебе идеи, — каждый из них служит своей идее. У тебя уже тоже пробиваются усики, ты созрел умом, сердцем и телом. Так поклянись же мне в верности, мой маленький мужчина, и я поведу тебя в моем стаде, под шелест знамен и дробь барабана".

* * *

Потом я увидел тебя, когда ты прислуживал своей идее у стола. Торжественно шелестели знамена. Тревожно били барабаны. Пылали костры. Вокруг гигантской кучи фактов и умозаключений ни днем, ни ночью не прекращалась битва. Стада приверженцев одной идеи сражались с приверженцами другой. Идеи были разные: благородные и бесстыдные, истинные и

лживые, старые и молодые. Несмотря на ожесточение битвы, каждая идея то и дело присаживалась на поле боя возле своего барабана, который превращался как бы в походный столик, и раскрывала рот: идеи постоянно нуждались в пище. Тогда часть стада, бросая оружие, хватала лопаты и старательно рылась в куче фактов и умозаключений.

Твоя идея была величественна и прекрасна. Ее лицо будто высечено из какого-то вечного камня. А ты был такой же, как раньше, только в твоих глазах светилась восторженная влюбленность и преданность, и когда ты бережно и галантно подносил к раскрытому рту идеи найденные на свалке факты и умозаключения, все стадо радостно топало копытами, потому что чем упитаннее и самодовольнее идея, тем громче и победнее она бьет в барабан и тем сильнее и увереннее чувствует себя стадо.

* * *

Потом я увидел тебя, когда ты прислуживал своей идее у плахи. Тогда ты уже отпустил бородку, отчего казался старше и мужественнее. Ты прижимал к плахе тонкую шею своей девчонки.

”Я люблю тебя, — шептала девчонка чуть слышно, — я люблю тебя и знаю, что и ты

меня любишь, и мне ничего другого в жизни не надо, только спать с тобой, рожать тебе детей, варить тебе обед. Не сердись на меня за то, что мне ничего больше в жизни не надо, не сердись на меня за это, мой мужчина, борец и герой”.

Но слова твоей девчонки были такие будничные и тихие, как капельки слез, которые текут по щекам, и их заглушала громовая и властная речь идеи.

”Откажись от своей девчонки, она будет тебе только мешать, — говорила идея, — ведь твоя любовь к ней, это любовь к ней одной, к одному человеку. А я — это твоя любовь ко многим, к тысячам людей, ко всему человечеству. Но человечество ревниво и требовательно, — говорила идея, — ему нужен ты весь целиком, оно не хочет делить твою любовь с какой-то девчонкой. Откажись от своей девчонки, мой рыцарь, пожертвуй счастьем одного человека ради счастья многих, пожертвуй своей никому не интересной комнатной, постельной, шопотной любовью ради громадной и громкой любви, озаренной участием и уважением всего нашего благородного стада. Пожертвуй девчонкой, мой мужчина, борец и герой! Предай ее! Предай! Предай!” — И каждое слово идеи падало на шею девчонки неоспоримо, как удар топора.

* * *

— Ты счастлив? — спросил я тебя, разливая коньяк по рюмкам.

Ты ответил:

— Счастлив.

Твое красивое лицо, обрамленное бородкой, отдаленно напоминающее лицо Христа, было одухотворено отблеском того пламени, которое пылало в твоей душе.

— А она? — спросил я.

— Кто?

— Та, с которой ты приходил ко мне.

— Ах, она! — и лицо твое на мгновение погасло — Я не знаю, где она.

Мы оба замолчали.

— Вы меня осуждаете? — спросил ты.

Я не мог на это сразу ответить и долго думал. Долго и трудно. Мучительно трудно.

— Нет, — ответил я, — не осуждаю.

А позже, когда ты ушел, я убрал со стола пустую бутылку и рюмки, смахнул крошки и распахнул окно. Я распахнул окно в голубоватые предутренние сумерки цветущего сиренью Марсова поля. Там было очень тихо. Город спал. Но какой-то еле уловимый гул как бы вздымался над ним и опадал в неторопливом ритме ночного дыхания. Может быть, это был топот стад, отдаленный стук копыт, неустанно, днем и ночью, топчущих землю. Я стоял у ок-

на, думая о тебе. И вдруг мне вспомнились все те, которым я причинил боль во имя идеи: моя худенькая седая мать, схватившая меня за руку и молившая: "Не уходи, ты один у меня, не уходи!" И бывший друг, а нынешний враг, несчастный горбун, одинокий, как звезда в небе, которому я сказал: "Вон из моего дома, и чтобы я больше никогда тебя не видел!" И он стал пятиться к двери и смотрел на меня так, будто падал в колодец. И немецкого офицера я вспомнил, безусого, голубоглазого глупого мальчика, который попал в плен, и я вел его ночным лесом в штабной блиндаж, а он все твердил и твердил какую-то брань по поводу евреев и коммунистов. Все они возникали передо мной за окном как во сне, бесплотные, полузабытые, неясные очертания на пустынных светлеющих дорожках Марсова поля. И мне показалось, что на одну секунду я расслышал стук своего сердца. Оно жалобно скрипело и скрежетало, как сломанное дерево на ветру. Но слышалось мне это лишь одну секунду, а потом тот неверный, призрачный и болезненный скрежет снова был заглушен тяжким, уверенным и торжествующим солдатским топотом, глухо раздававшимся над предутренними пустынными прекрасными улицами города.

И тогда я вдруг содрогнулся своим старческим сердцем и проклял идею, эту безжалостную, бесчеловечную старуху, эту богиню стад,

эту седую ведьму с барабаном в руках. Я проклял твою идею, и свою идею, и все другие идеи на свете: благородные и бесстыдные, истинные и лживые, старые и молодые, потому что любая идея бьет в барабан и ведет за собой стадо. И стук наших копыт громче, чем стук наших сердец.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Однажды я заметил, что заболеваю неизлечимой болезнью. Эта болезнь называется старостью. Ее ужасные симптомы – накопление жизненного опыта, который откладывается в сознании, как известь на стенках артерий.

Старость подкрадывалась ко мне со всем присущим ей обольстительным коварством: с любимыми детьми и прелестными внуками, с привычными удобствами и уважением окружающих, с чрезвычайно разросшимся прошлым и сжавшимся в маленький комочек будущим.

Оно уютно свернулось передо мной, мое крохотное будущее, поблескивая лысиной, пенсией, вставными зубами, пузырьками с лекарствами и жизненным опытом. И уже не сладостное предчувствие неведомой и загадочной Истины изредка касалось меня своим прохладным крылом, как бывало в юности, а надежные азбучные истины окружали меня, подобно подушкам, и мне хотелось умять их под себя, чтобы было еще удобнее и спокойнее: одну азбучную истину положить под локоток, другую – под спину, третью – под зад; и лежать на своих умятых истинах, жирея и хрюкая от сво-

ей старческой мудрости и поучая юношей, как им следует жить на свете.

И юноши пришли ко мне. Ты хорошо помнишь то время. Тебе было тогда семнадцать или восемнадцать лет. Жестокая и беспощадная похоть рвалась из твоего тела, нежность кружила твою голову, дерзость и робость боролись в твоей душе, и ты был истерзан грандиозной бесцельностью мироздания, и своим величием, которого никто не замечает, и своим ничтожеством, на которое указывают пальцем все те, кто уже отрастил себе бороду и брюхо. Ты искал утешения в футболе и книгах, в кино и водке, в спорах и драках, и сладостное предчувствие Истины изредка касалось тебя своим прохладным крылом.

А я покоился на своих умятых азбучных истинах, в домашних туфлях и с трубкой во рту, толстый, старый и благодушный. Устойчивые вещи непоколебимо стояли на своих местах. Устойчивые дома тяжело и надежно стояли за окном под неподвижным, как потолок, небом. Устойчивые понятия были разложены на полочках моего сознания, и я твердо знал, что хорошо, а что плохо, где право, а где лево, где верх, а где низ. Мне стоило только протянуть руку, и я брал с нужной полочки нужную реплику, и она благозвучно выплывала из моего рта и таяла в воздухе, как синеватое облачко табачного дыма.

– Пить водку плохо, – говорил я, – а учиться хорошо. Портить девушек плохо, – говорил я, – а любить их хорошо.

Так говорил я, негромко и благодушно, со снисходительной мудростью поглядывая на тебя, а ты...

...Ты стоял передо мной, маленький, с большими красными руками и длинными энергичными пальцами, которые умеют с такой влекущей и покоряющей силой отбивать на столе сумасшедшие ритмы, и на твоей щеке еще не просохли капельки дождя.

– Я вчера опять нагрубил матери, – говорил ты, – а позавчера напился с ребятами, а завтра у меня экзамен, но я еще не сел за книги.

...Ты стоял передо мной, могучий и широкоплечий, рвущийся из своего тесного и короткого пиджака, и твои каменные кулаки боксера были похожи на два булыжника, зажатые в руках.

– Я плюю на ваш здравый смысл, – говорил ты, – и на то, что вы старше меня и всегда знаете, как надо поступить, потому что вы – это вы, а я – это я, и у вас все позади, – поэтому вы такой умный и спокойный, а у меня все впереди, и поэтому я не знаю, что делать с собой.

...Ты стоял передо мной, высокий и узкоплечий, и дерзкий и насмешливо-вызывающий

твой чуб мотался над пьяными и недобрыми твоими глазами.

— Я ненавижу вас, — говорил ты, — за то, что вы жалеете меня и спешите накормить, когда я прихожу к вам голодный, и даете мне денег, когда у меня нет ни копейки. Я ненавижу вас за то, что вы такой толстый, такой сытый, такой добрый. Мне хочется разгромить к черту всю вашу комнату и набить вам морду, а я стою перед вами пьяный и жалкий и сейчас сяду за стол и буду пить ваш чай и слушать ваши советы и просить у вас денег.

Так ты говорил мне, а твои глаза — тревожные и доверчивые твои глаза — смотрели на меня, будто спрашивая: "Как жить мне, такому неопытному и беззащитному, на этой громадной безразличной ко мне земле, под этим громадным безразличным ко мне небом, среди этого громадного безразличного ко мне человечества? Надо мной в космической бездне по исполинским орбитам движутся звездные миры, подо мной громоздятся горы и клокочет раскаленная магма, вокруг меня кишат и пожирают друг друга миллиарды миллионов живых существ, во мне самом клокочет похоть и честолюбие, страх и зависть, нежность и злоба. И с рождения до смерти я обречен ходить по краю бездны, на дне которой смерть, мрак и ничто. Как жить мне на этой ослепительно освещенной арене, где гениальные

ученые открывают законы природы, гениальные писатели пишут великие книги, гениальные вожди ведут за собой стада людей? Что делать мне среди всех, такому обидчивому и застенчивому, страдающему от того, что никто не догадывается о моем величии? Что делать мне, песчинке в пустыне, не желающей быть песчинкой? Что делать мне, капле в океане, не желающей быть каплей? Как жить мне, чтобы все девушки увидели, какое у меня нежное сердце, и все ребята узнали, какой у меня смелый ум?"

Твои глаза взывали ко мне с такой шемящей доверчивостью, будто ты поднял обе руки кверху, будто ты прижался к моему плечу.

Так уже было со мной однажды, во время войны, на фронте. Молоденький солдатик, совсем мальчик, в мятой изорванной шинели, потерявший каску, оказался возле меня в окопе, когда пронзительная ракета, взметнувшаяся в небо, послала нас в атаку.

Лицо мальчика было зелено-землистое, а глаза его были широко распахнуты, как два больших орущих рта. Он бросился к разбитому блиндажу, потом вернулся обратно, упал на колени и стал разгребать руками землю, будто хотел зарыться в нее, потом опять вскочил на ноги и обнял меня, и спрятал свое лицо в мою шинель.

Я провел рукой по его волосам, и он, почувствовав ласку, прижался ко мне и больше не отпускал меня. И когда мы бежали с ним в атаку, он держался за мою шинель, как ребенок держится за материнскую юбку. Мне хотелось защитить его руками, как птица защищает своего птенца крыльями, но я не сумел защитить его; и когда падал на землю, оглушенный неувиденной и неслышанной пулей, то успел заметить его осиротевшее лицо, и упрек, и жалобу, и обманутую его доверчивость.

Эта обманутая доверчивость до сих пор лежит тяжким камнем на моем сердце. Но доверчивость, должно быть, всегда бывает обманута, потому что ее невозможно утолить до конца, как невозможно до конца утолить любовь. И если бы ты вычерпал меня до конца, то на дне моего колодца увидел бы горький осадок моей вины перед тобой, потому что и тебя тоже я не мог защитить, не мог прикрыть тебя ни своим жизненным опытом, ни своим жирным брюхом, ни возрастом, ни прочитанными книгами. Я чувствую себя таким же беспомощным, незащищенным и ничего не знающим, как и ты. И вся моя десятилетиями накопленная и тщательно сбереженная мудрость была взорвана в один миг твоей неутомимой доверчивостью.

И тогда я завопил как Иеремия, голосом старческой безысходной скорби:

— Как защитить мне тебя, стоящего передо мной в мятой изорванной шинели, с зеленоземлистым лицом и глазами, похожими на два орущих рта? Как мне защитить тебя от тебя, и от себя, и от твоей неопытности, и от моего опыта? Как защитить мне тебя, песчинку в пустыне, не желающую быть песчинкой, каплю в океане, не желающую быть каплей? Как защитить мне тебя, чувствующего свое хрупкое величие, в которое никто, кроме нас с тобой, не верит?

Еще очень-очень давно, когда я был таким же юношей, как и ты, я встретил однажды девушку, которая, как я думал, одна — и только она одна — может вывести меня из тюрьмы моего одиночества. И я сказал ей, что люблю ее, но в тот же миг, когда я говорил это, что-то подсказало мне, что я не ее люблю, а себя, и эта девушка лишь избранница моей любви к самому себе. Через несколько лет мне посчастливилось встретить другую женщину, и я почувствовал, что только я — только я один — могу растворить темницу ее одиночества. И тогда открылось мне, что это и есть любовь к другому человеку, и эта любовь на многие годы озарила мою молодость.

Так и тогда, когда ты стоял передо мной во всей разрывающей душу беззащитности и довер-

чивости своей молодости, я почувствовал желание простереть над тобой свои крылья; желание защитить тебя своей верой в тебя, и тревогой, и нежностью, и болью. Но я понимал, что защитить тебя не сумею, и моя вина перед тобой неупокоима.. И тогда, как в молодости, жаркая любовь опалила мое сердце.

От ее могучего приобая содрогнулась старость, и прекрасный свет озарил последние годы моей жизни.

МОЙ СТАРЫЙ КОРАБЛЬ

Еще ты научил меня не стыдиться своей похоти, ее могучего и неустанныго зова, который из самых недр моего существа все трубит и трубит в свою неистовую трубу, утверждая мое равенство с лошадью и тюльпаном, с мышью и бамбуком, со стрекозой и быком.

Ты научил меня этому в тот вечер, когда ворвался в мою комнату, распластав крылья своего слепого и неудержимого полета в поисках первой женщины.

От тебя пахло потом и спермой. Теплая бархатистая шерсть, шерсть молодого, здорового животного, горячо поблескивала на твоих загорелых руках. Стройные ноги били по полу маленькими изящными копытами.

И вся моя стариковская благопристойность встала на дыбы.

— Чем ты гордишься? — спросил я. — Тем, что похож сейчас на возбужденного жеребца?

— А разве было бы лучше, если бы я был похож на сонного мерина? — вызывающе спросил ты.

— Было бы лучше, — ответил я скрипучим голосом наставников моей далекой юности, —

если бы ты сейчас был похож на того одухотворенного юношу, которого я видел в тебе до сих пор. Было бы лучше, если бы ты был способен подчинить свою похоть интеллекту, который, как ты это отлично знаешь, вознес тебя над всеми животными, вытащил из пещеры, нарядил в брюки и галстук, дал тебе радиоприемник и открыл прекрасный и бесконечный мир отвлеченных понятий.

Так говорил я тебе, и привычное ощущение своего превосходства над лошадьми и тюльпанами, над мышами и бамбуком, над стрекозами и быками поднимало меня в собственных глазах все выше и выше, пока не вознесло на ту высоту надменности, где я чувствовал себя венцом творенья и царем природы.

А ты бил внизу своими звонкими нетерпеливыми копытами, и твоя чистая бесстыдная похоть торжественно славилась природу, как славят ее ум, сила и красота.

И надежная моя высота вдруг заколебалась и стала неверной, как высота моря, бушующего над бездной. Чтобы удержаться на зыбкой ее поверхности, я вновь напомнил себе о своем превосходстве над животными и растениями, которые бедны мыслью, беспомощны в мире отвлеченных понятий, и поэтому обречены обходиться без брюк и галстуков, без книг и радиоприемников, без которых я обойтись не мог бы.

Но уже то обстоятельство, что я вынужден был напомнить себе об этом, свидетельствовало о шаткости моего царственного престола.

Царственный престол! Но разве не я сам назвал себя венцом творенья и царем природы? Или, может быть,мышь считает меня царем природы? Или тюльпан считает меня венцом творенья?

Нет, наверное, просто в слабости своей, в беззащитности перед окружающим я пытаюсь утешиться тем, что будто бы заслуживаю больше уважения, чем лошадь или тюльпан, чеммышь или бамбук, чем стрекоза или бык. Но, по правде говоря, я вовсе не знаю, чем я лучше их. И поскольку этих строк никогда не прочитает ни одно животное и растение, то мне незачем утверждать, будто среди людей, со всем нашим разумом, с нашими знаниями, с понятиями о нравственности, с нашими великими писателями, будто среди нас, братцы-люди, меньше зла и насилия, несправедливости и хищности, чем среди лошадей и тюльпанов, мышей и бамбука, стрекоз и быков.

Так что у меня нет решительно никаких оснований кичиться перед кем бы то ни было. Только признав красоту, гармоничность и величие каждого явления природы, я смогу считать справедливым и чувство собственного достоинства. Тогда мне не придется противопоставлять себя ни животным, ни растениями,

и я буду гордиться не своим вымышленным превосходством над ними, а равенством и братством со всем, что рождается, плодится и умирает.

Этому ты научил меня в тот вечер.

И я стал уступать дорогу муравью. И смотреть на мышь с уважением. И, прихлопывая комара, напившегося моей кровью, я говорю ему: "Извините, пожалуйста". И, не сравнив, а сравнив себя с муравьем и комаром, я изумился красоте, гармоничности и величю своего тела, по которому день и ночь струится кровь, которое пронзает пространство зрением и слухом и забрасывает в отдаленное будущее свое слово и свою сперму.

Так почему же мне стыдиться похоти? Ее не стыдятся ни лошадь, ни стрекоза, ни лев, ни муравей.

К тому же моя похоть освещена моим духом: всеми книгами, которые я прочитал, всей музыкой, которую слышал, всеми красками, которые видел, всеми цветами, которые нюхал, всеми прикосновениями к коже и шерсти, к камню и дереву, к бумаге, к листьям, к земле и траве.

И я уже не знаю, что такое похоть: то ли это дух, воплощенный в плоть, то ли плоть, проявляющая себя в духе.

День и ночь гремит во мне оркестр моей похоти. Звучат флейта и тромбоны, скрипки и

контрабасы, и отчаянный ударник в безумном вдохновении трещит в трещотку и бухает в барабан. Иногда мелодии этого оркестра раздирают мне душу, иногда пеняются счастьем, иногда журчат, как ручей, иногда грохочут, как взбешенное море. Иногда я слышу их тайный шопот, иногда они ввинчиваются в меня, как зубная боль, иногда засасывают в тину, в паутину, где нечем дышать, иногда звенят, как весенние пасхальные колокола.

И я люблю этот несмолкаемый оркестр. Он зовет меня не отнимать, а отдавать, не замыкаться, а сливаться; он зовет не к ненависти, а к любви.

Шестьдесят лет я прожил на свете, и год от года оркестр моей похоти становится все мощнее и громче. Все певучее и нежнее поют скрипки, все значительнее и трагичнее мрачный голос контрабасов, все ярче и неожиданнее всплески литавр, а когда ухает барабан, то во всем доме звенят стекла.

Так мычит бык. Так ржет конь. Так поет цикада. Так кричат ночью коты на крыше.

Так шумит дождь. Так воет ветер. Так рокочет гром. Так падают с дерева перезревшие яблоки.

Так пусть мой старьй корабль приближается к своей последней гавани, не опуская парусов, надутых ветром неутомимой похоти. Пусть на его мачте горделиво развевается флаг моих

животных желаний. Пусть все громче и громче
гремит на палубе мой бесстыдный оркестр.

Во славу лошадей и тюльпанов, мышей и
бамбука, стрекоз и быков. Во славу всего, что
рождается, плодится и умирает.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Нет, я не хотел застрелить себя, я хотел жить, я хотел застрелить противника, а застрелил себя: долго-долго целился, чтобы не промазать, и спустил курок, и застрелил себя, и стал мертвым.

А может быть, я не себя застрелил, а противника... А может быть, не я застрелил противника, а он застрелил меня... А может быть, противник застрелил вовсе не меня, а моего лучшего друга Мишу Троицкого... А может быть, Миша Троицкий застрелил его... Ведь на войне было все как в тумане, как в дурном сне, так что разобраться в том, кто кого застрелил, не так-то просто, тем более, что все мы были тогда так похожи.

На нас надели железные каски, и мы прокричали присягу, а потом маршировали по главной улице под мужественный звон оркестра, и держали равнение направо, на группу полковников и майоров, толпившихся вокруг генерала, и вся дивизия, повернув направо деревянные лица, одновременно поднимала ногу и взмахивала рукой — моей рукой и рукой Миши Троицкого, и рукой всех других солдат,

шагавших с нами в одном строю. И это уже была не моя рука, и не рука Миши Троицкого, и не рука какого-нибудь другого солдата; это была наша общая рука, и когда мне захотелось потереть глаз, в который что-то попало, я не мог этого сделать, потому что не мог же я потереть свой глаз могучей общей рукой, принадлежавшей сотням, а может быть, и тысячам других солдат, у которых глаза в тот момент вообще не чесались.

И тогда я почувствовал, что не только мои руки и ноги стали общими, но и все другое, что раньше принадлежало мне одному, стало общим, и у меня не было больше ни своего тела, ни своего имени, ни своих забот и воспоминаний. И от этого мне вдруг стало необыкновенно легко, будто я выскользнул из своей личности и, как бесплотный ангел, витаю где-то в пространстве, вне себя и вне жизни.

Это было какое-то восхитительное, никогда прежде не испытанное чувство освобождения от всякой ответственности и необходимости выбора и решений; какое-то ликующее торжество безволия и пассивности, граничащее с воодушевлением.

Но так продолжалось недолго, только до тех пор, пока мы шагали по асфальту и перед нами гремел оркестр, и лихой молоденький офицер, отсчитывая ритм, бойко покрикивал: "Левой! Левой!" А потом оркестр свернул

в сторону и пошел обратно, а мы продолжали идти все прямо, и асфальт сменился вязкой грязью поселка, и лихой офицер уже не отсчитывал больше ритма, а мы все шли и шли в своих грязных серых шинелях, пряча в рукава папироски, и тяжелые грузовики с надрывным воем бились в грязи вместе с нами, и мы копали себе на ночь норы, а утром выползали из нор и снова плелись по дороге, потные и усталые.

И я опять был втиснут в свои собственные руки, ноги, заботы и воспоминания. Никогда прежде я не чувствовал их такими моими — мои дорогие ноги, потертые кирзовыми сапогами, и мои дорогие руки, отвыкшие от пера, и мои дорогие заботы о привале и обеде, и мои дорогие воспоминания о довоенной жизни. Все, что свершилось со мной в прошлом, и все, что должно свершиться в будущем, теперь казалось мне чрезвычайно значительным, необыкновенным, присущим только мне одному. И я тащил свою непрожитую жизнь, как мешок на спине, и спина моя гнулась и гудела под тяжестью этой драгоценной ноши.

Так шел я день за днем, не зная, куда нас ведут и где мы ночуем, где будем завтра. Но однажды в ясное осеннее утро фронт открылся передо мной во всей своей беспощадной реальности.

Он оказался змеящейся траншеей, набитой живыми и убитыми солдатами. Полузасыпанные землей, они окоченело лежали и сидели в различных позах, спрятав под низко надвинутыми касками свои мертвые лица.

Выглянув из траншеи, я увидел редкую рощицу с обгорелыми деревьями и посеребренной травой. Место было незнакомое, оно могло находиться под Ленинградом, или под Кенигсбергом, или под Лондоном, или под Варшавой. Но все в этом незнакомом месте было родным с детства: и эти иззябшие серебристые травинки, и зеленые кустики брусники, и муравейник у подножия дерева, и остекляневшая лужица, сверкавшая на земле у самого моего подбородка.

В этой зеркальной лужице, подернутой тонким стеклышком льда, далеко-далеко, в высочайшей глубине плыло легкое светлое облако и слегка колыхалась жесткая травинка.

Я подтянулся повыше, чтобы лучше разглядеть отражение, и тогда увидел в голубоватом зеркальце край своей каски и лицо человека.

Это было незнакомое лицо, уже немолодое, серое, обросшее рыжеватой бородкой, с глубокими складками возле рта. Но было в этом чужом лице что-то неуловимо родное, будто это мое собственное лицо, хотя оно никак не могло быть моим, потому что мне тогда было всего девятнадцать лет, а этому человеку лет

сорок, не меньше. И хотя из-под его каски и выбивалось колечко моих русых и мягких мальчишеских волос, но это колечко казалось чужим, будто оно залетело сюда из чьей-то далекой юности, будто дунет сейчас ветерок и полетит оно дальше, а останутся на этом старом лице только небритая бородка да трагические борозды возле рта.

Так я всматривался в свое чужое лицо, когда услышал тонкий, короткий, но пронзительный свист, и почти в тот же самый миг возле меня взметнулся мгновенный фонтанчик мерзлой земли и несколько комков или камешков больно ударили меня по руке.

Я понял, что это просвистела и вонзилась в землю пуля противника, и стал искать его взглядом.

Он оказался недалеко, за небольшим холмиком. Я отчетливо увидел его каску и под каской лицо, поразившее меня своим удивительным, почти невозможным сходством с тем лицом, которое я только что разглядывал в замерзшей лужице.

Лицо моего противника было тоже немолодое, серое, обросшее рыжеватой бородкой, с глубокими складками возле рта. И в этом чужом лице было тоже что-то неуловимо родное, будто это мое лицо, если бы, конечно, я был постарше. И еще я увидел колечко волос, тро-

гательное колечко мягких русых волос. Но и оно казалось залетевшим сюда случайно.

Противник целился в меня тщательно и не спеша, чтобы на этот раз не промахнуться, и раньше чем раздался его выстрел, я вскинул свою винтовку и тоже прицелился и положил палец на спусковой крючок.

Спусковой крючок был доверчивым и податливым. Он все пригибался и пригибался под неторопливым нажимом моего пальца, и оставалась всего какая-то доля секунды до выстрела, и в эту долю секунды я спросил своего противника или самого себя:

— Ты хочешь стать убийцей?

— Нет, — ответил противник или я сам, — но я не хочу быть убитым, а если я не убью тебя, то ты убьешь меня.

— А мы никак не можем жить оба? — спросил я.

— Никак, — ответил противник или я сам, — потому что я защищаю истину и справедливость, а ты идешь против них.

— Нет, — сказал я, — это я защищаю настоящую истину...

— Но откуда ты знаешь, что твоя истина истиннее, чем моя? — спросил противник или я сам.

— Как же! — ответил я. — Меня убедили в этом мои книги и мои учителя, мои газеты и мое радио, и мое сердце тоже.

– Но мои книги и учителя, мои газеты и радио, и мое сердце убедили меня в противоположном, – сказал противник или я сам.

– Так что же нам делать? – спросил я.

– А что мы с тобой можем делать? – спросил противник или я сам. – Мы можем делать только то, что делают все другие: защищать истину. Ты свою, а я – свою.

– А может быть, можно обойтись совсем без истины, и без твоей, и без моей? – с робкой надеждой спросил я.

– Нет, – помолчав, сказал противник или я сам. – Без истины обойтись нельзя. Если не будет никакой истины, то наступит полная свобода, как же тогда жить?

– Но чем же плохо, если полная свобода? – удивился я. – Люди мечтают о свободе.

– Ты думаешь? – спросил противник или я сам. – А тебя не пугает, что тогда мы должны будем сами отвечать за все свои поступки и их последствия? Сказать тебе по правде, так я просто не решусь тогда сделать ни одного шага, потому что как же можно будет отличить, какой шаг правильный, а какой ошибочный?

– А как теперь мы отличаем правильный шаг от ошибочного? – спросил я.

– О, теперь это очень просто, – ответил противник или я сам. – Теперь мы каждый свой шаг проверяем истиной. Моей истиной или твоей. И истина нам подсказывает, что хо-

рошо, а что плохо, и куда надо ступить: вперед или назад, направо или налево. С истиной легко жить и умереть. Главное, это верить в нее, и тогда уж ни о чем можно не беспокоиться.

– Но как же не беспокоиться, когда я сейчас должен убить тебя и стать убийцей? – сказал я.

– Ну и что ж, – ответил противник или я сам, – не убивай, философствуй. – И по его прищуренному тревожному глазу и по каменному лицу я понял, что его палец, нажимающий спусковой крючок, уже почти дошел до той точки, когда раздастся выстрел, который убьет меня.

Но мой выстрел прозвучал раньше, чем выстрел противника.

Голова его дрогнула, и каска покатилась в сторону. Он уткнулся лицом в землю, и страшный земляной холод проник в мои глаза и сжал тело.

А когда я снова взглянул в остекленевшую лужицу, сверкавшую на земле возле моего подбородка, то опять увидел в ней себя, но это был уже не тот я, что прежде. Это был победитель, который до конца своих дней будет оплакивать побежденного.

ЧАСОВНЯ В ОГНЕ

1

Я не люблю своего прошлого. И чужого тоже. Я не люблю день вчерашний — он уже прожит, исчерпан. Вчерашний день — это вчерашние иллюзии, а я живу сегодняшними иллюзиями.

Каждый день я занят тем, что вылупливаюсь из яйца как цыпленок. Рано утром я начинаю пробивать скорлупу вчерашних иллюзий и долблю ее до позднего вечера, как делал это вчера, год назад, десять лет назад, сорок лет назад. А когда наступает ночь и я полностью освобождаюсь от вчерашних иллюзий, то оказывается, что я уже окружен скорлупой новых иллюзий.

Я старый человек, и живу на громадной куче битой скорлупы. Она мертва, эта скорлупа, и ее не могут оживить даже самые живописные воспоминания. А я люблю только живое. Но все живое текуче, неуловимо и сомнительно, будто я барахтаюсь под водой. И стоит мне только на секунду перестать барахтаться, как вода застывает вокруг меня подобно стеарину, замыкая меня в мое подобие.

Мой юный, мой прелестный божок! Вот и улетел ты в горы, чтобы, как и подобает Господу Богу, пребывать где-то там, в надоблачных высотах, среди скал, ущелий, туч и молний. Ты улетел (или отлетел?), и у меня не осталось нежного изгиба твоих губ, и матовой голубизны твоей шеи, и тоненькой, почти прозрачной фигурки, которая своей прозрачностью как-то непонятно связана с твоей молчаливостью, так редко присущей простым смертным, и с умением слушать не только лепестками ушей и глазами, но так, будто ты весь – настроенный на запись магнитофон. Твоя загадочная прозрачность как-то связана с твоей способностью проникать в стихи, музыку, живопись, цветок, облако, сквозь их поверхность и внешность, в самую глубину, на самое дно, куда не может проникнуть ни зрение, ни слух, ни сознание.

А мне Бог не дал этой способности, и хотя я всю жизнь толкусь на шумной толкучке литературы и служу литературе как верная собака – терплю от нее побои, мерзну на ее пороге и выпрашиваю ее милости, но всегда чувствую свою неуклюжесть и неповоротливость: тупым молотком разума я все бью и бью по ореху, и когда добираюсь, наконец, до ядра, то не понимаю, что в этом ядре было для меня столь приманчивым.

А приманчивым, оказывается, был только ты, прелестный своей незащищенной одухотворенностью. Но ты выпархивал из ореха сквозь первую же шелку, и там оставалось лишь что-то, подобное мертвому телу, покинутому душой.

Метафора эта все разворачивалась и разворачивалась в моем воображении, но пришел поэт "А", и метафора тотчас свернулась обратно, как улитка залезает в свою раковину. И я прикрыл раковину чистым листом бумаги, чтобы чужое дыхание не заглушило ее чуть слышного шороха океанских глубин.

Поэт "А", как всегда, был одет во что-то невероятно яркое, обтягивающее, франтоватое и вызывающе-заграничное. Он держался развязно, но в умных глазах этой маленькой, уже немолодой и морщинистой обезьянки была такая безысходная тоска, что я почувствовал, как обычно чувствовал в его присутствии, что виноват перед ним за свою пристойную одежду, пристойный возраст, пристойную комнату, за весь свой омерзительно-пристойный образ жизни, который как бы оттенял и даже подчеркивал непристойность его обнаженно-беспомощного существования.

Но не успел я еще проявить свою несколько преувеличенную, хотя и подлинную почтительность к гостю, как раздался телефонный звонок, и я услышал твой голос.

Он был таким неожиданным, что взорвал весь мой жизненный опыт, все "может быть" и "не может быть", и я доверчиво слушал тебя, убежденный, что ты говоришь откуда-то из заоблачных высот. Но мое удивление было вызвано не тем, что ты звонишь мне оттуда, откуда звонить по телефону нельзя, а тем, что в твоей негромкой речи я услышал два знакомых слова: "аэродром" и "самолет". И тогда я сообразил, что ты еще не улетел, что вылет самолета задерживается, а ты звонишь из аэропорта.

Как только я положил трубку, так сразу же решил немедленно поехать в аэропорт, чтобы еще хоть одно мгновение поглядеть на тебя.

Торопливо выпроводив ничего не понявшего поэта "А", я вышел на балкон. Сквозь мелкий и частый дождь светили фонари. По шоссе проносились в аэропорт длинные полупустые автобусы.

Я представил себе просторный зал ожидания и твою маленькую фигурку среди обыденных твоих попутчиков. Ты, наверное, сейчас дремлешь, прикрывшись старенькой ватной фуфайкой и прислонив голову к громадному, туго набитому рюкзаку, а твои длинные волосы стекают из-под вязанной шапочки на щеки и губы.

И, стоя на балконе, в тускло озаренном тумане дождя, я внезапно понял, как смутился бы ты, если бы я появился сейчас в аэропорту;

как испугался бы, чтобы не заметили меня и не догадались о моем отношении к тебе твои мужественные попутчики.

Я отчетливо увидел себя, воровато крадущегося мимо твоих товарищей, старого толстяка с седыми поп-волосами, эдакого карикатурного сатира, тайком подглядывающего за спящей нимфой.

Если бы ты был девушкой, то моя фигура показалась бы просто смешной и жалкой. Но ты — юноша, и от этого мое влечение к тебе становится непристойным и предосудительным. Это произвольная и совершенно бесцельная игра чувств, столь же извращенная, причудливая, непонятная и необъяснимая, как противоестественное желание говорить стихами или извлекать из музыкальных инструментов звуки, которых не существует в природе.

Мое преклонение перед тобой, его бессмысленность и бесцельность пронизывают меня радостью, которая, наверное, сопутствует всякому художественному акту. Но так же, как и всякий художественный акт, оно окрашено некоторым драматизмом. По всей вероятности, многие бескорыстные художники чувствуют несоответствие с жизнью своей эфемерной игры словами, красками или звуками, ее неприменимость и бесполезность в мире практически полезной деятельности.

Я вернулся с балкона в комнату, в мою каюту, к моему надежному (безнадежному?) столу, к лампе, к дивану, но осколки еще недавней пристойности, разбитой твоим телефонным звонком, валялись повсюду. Я пытался собрать их в кучу: включил магнитофон, сел за пишущую машинку. Однако магнитофон разносил только тревожный и четкий ритм твоего сердца, а машинка издавала редкие удары твоего пальца — так, неуверенно, ты выстукивал на ней свои и чужие стихи. А мне все мерещился и мерещился эльфический образ моего божка, сошедшего на землю, чтобы озарить мою старость.

3

Лет в четырнадцать или пятнадцать я потерял веру в сурового Бога Саваофа. Это была тяжелая потеря. Будто я осиротел. Будто меня выгнали из дома под хмурое дождливое небо, и я остался во мраке неоглядного поля, одинокий и беззащитный.

Потом мне удалось найти новое божество. Им был Разум. Он взял меня за руку и повел за собой уверенно и властно. Он вел меня за собой четким строевым шагом и привел, как не трудно догадаться, на фронт. И там, еще до первого боя, до первой атаки, он сбросил с себя свою фальшивую солидную бороду и ока-

зался избалованным, капризным, глупым и злым мальчишкой.

Само собой разумеется, что он не мог больше быть моим Богом, и я пихнул его коленкой под зад, полагая, что найду себе божество, более милое моему сердцу.

И нашел. Им был Христос. Христос был очень обольстительным божеством, исполненным обаяния, бескорыстия и жертвенности. Особая прелесть его заключалась для меня в том, что он был одновременно и смертной плотью, и бессмертным Словом. Слово, идея стали плотью и потеряли свою отвлеченность.

Но царствовал Христос в моем сердце тоже недолго. Лишь столько времени, сколько потребовалось, чтобы прочитать все четыре Евангелия и послания Апостолов. А когда я стал читать историю Христовой церкви, то престол моего нового божества зашатался, потому что под знаменем Христа проливалось еще больше крови, чем под знаменами Бога Саваофа и Бога Разума.

И я снова остался без Бога. Один. В пустом поле. Под вечными звездами.

Опять годы паломничества. Налево. Направо. Вверх. Вниз. От себя. К себе. Трудные годы... Но все-таки мне удалось воздвигнуть в своем сердце новое божество. Им был я сам, не желающий ни над кем властвовать, никого

учить, ничего перекраивать, покорно несущий бремя своих страстей и обязанностей.

Это был самый приемлемый Бог в галерее недолговечных моих богов. Но и он торжествовал в моем сердце только до тех пор, пока был мужественен и уверен в себе, как и полагается быть всякому пристойному Богу. Но когда пришла старость и морщины избородили мое божественное лицо, и отвисшее брюхо восторжествовало над моей немощной плотью, то я уже не мог опереться о плечо своего одряхлевшего Бога, а сам должен был подставлять ему плечо.

И мое сердце возжаждало нового Бога.

И он явился ко мне, похожий на нераспустившийся цветок тюльпана. Хрупкий и нежный телом, как девочка, но с мятежной, ищущей подвигов душой юноши и с плотским вожделением зрелого мужа — с вожделением, скопившемся в его юношески-мужественном теле, но не пущенном в цель. От этого весь облик моего юного Бога был пластичен, грациозен, тревожен и устремлен, как тонкий лук с туго натянутой тетивой.

Отличается мой нынешний Бог от всех прежних своей юностью. А юность — это нечто текучее. Она протекает через каждого человека, ни в ком не задерживаясь. Она как поток, омывающий камень. Она быстротечна в масштабах одной жизни и неиссякаема в масшта-

бах человечества. Она течет через годы, века, тысячелетия.

Юность неопытна, незащитна, доверчива. От этого она иногда держится с наигранным апломбом. Но в действительности у юности нет апломба ни Бога Саваофа, ни Бога Разума, ни Иисуса Христа, ни своего собственного. Юность не выдает себя за Истину.

И я поклоняюсь моему Богу, его Божественной Неистинности. Я поклоняюсь его изменчивости, устремленности в будущее, его недолговечности и вечности. Его духовности, еще не успевшей заматереть в тяжких как камни идеях. Его вожделению, еще не успевшему оплодотворить женщину. Его стану, еще не успевшему приобрести мужественности.

4

Когда ты первый раз пришел ко мне, то почти ничего не говорил, только смотрел и слушал. Я сидел за своим столом, старый, толстый и снисходительный. Читал тебе стихи любимых поэтов и чему-то поучал, покуривая свою верную трубку. И весь мой стариковский скептицизм, наверное, подтачивал в тебе еще неокрепшее знание всех тех норм, всех тех "хорошо" и "плохо", всего общепринятого и устойчивого, что внушали тебе дома, в школе, в университете. А ты сидел наиско-

сок от меня, тоненький, с длинными волосами, с нечетким профилем, как бы небрежно, но вдохновенно начерченным гениальной рукой; сидел, весь сжавшись в кулачок, и смотрел, и слушал. И твой взгляд, в котором были сосредоточенность, и зрение, и слух, и тишина, как бы затягивал, засасывал меня, и я с головокружительным упоением летел в какую-то бездну.

Но эта бездна была не внизу, а наверху. Она распахивалась надо мной, как небо. Она засасывала меня, как небо, когда лежишь в летний день на спине, и перед глазами нет ничего, кроме синего пространства, кроме вневременной его протяженности и внепространственной его глубины.

Я падал, падал и падал в тебя, в высоту, в будущее, в сверхличное, в вечное, чувствуя при этом отчаянный страх и радость... Все падал и падал вверх, возносясь к каким-то неведомым высотам. И когда однажды взглянул вниз, то с трудом различил там, в далеком прошлом, в бездонном низу, еле заметного, крохотного седого старика, читающего стихи бабочке, которая каждую секунду могла взмахнуть крыльями и улететь.

На улице уже не шли трамваи. Раскрытая дверь вела на балкон, который, как лодка в спокойном озере, плавал в белой ночи. Высокие, стоявшие на изрядном расстоянии друг

от друга дома были окрашены в синеватые тона. Белая ночь звенела от напряжения и какой-то зеркальной тишины.

Потом ты читал мне свои стихи. И твой голос звучал, как эта ночь, так же тихо, напряженно и зеркально, и стихи плыли передо мной, как лодка между зеркальностью воды и неба. Редко расставленные странные слова были похожи на свои отражения или на капли воды, падающие в воду. И эти слова, и эти капли, и ты сам, и балкон, плывущий в белой ночи, и мое непрекращающееся головокружительное, отчаянно-радостное падение вверх — все это мне вспоминается как отражение чего-то, чего, может быть, и не было, и не могло быть вовсе.

5

Я не знаю, как проявляется старость у других людей. У прославленных деятелей теории и практики она, по всей вероятности, проявляется в наивном самообольщении своей значительностью. Их открытия и изобретения, их социальные системы, их сочетания слов и понятий кажутся им самыми истинными. Их кипучая деятельность во имя этих открытий, изобретений, систем и сочетаний кажется им движением человечества вперед (вверх? вниз? в сторону?), а свои вставные зубы, седину и

лысину они носят, как заслуженную награду, перед которой все, кто моложе, должны почтительно снимать шапку.

У большинства людей ничем не прославленных старость проявляется как освобождение от гнета своего будущего — ответственности за него и заботы о нем. Гипертрофированное прошлое, по самому своему существу, пассивно. Оно не требует ни решений, ни поисков, не вызывает колебаний. С прошлым приятно цацкаться. Так цацкаются со своим прошлым многие тысячи стариков — со своим военным прошлым, со своим любовным прошлым, со своим революционным (контрреволюционным) прошлым, со своим наивным прошлым.

В отличие от других стариков — прославленных и непрославленных — я на склоне лет впал в детство, или, иначе говоря, в глупость (а может быть, это и есть свобода?). Я перестал понимать то, что понятно всем: что такое духовность? За что нужно уважать историю? Почему дважды два равно четырем, а не пяти или пятнадцати?

Если бы меня вызвали сейчас к доске, я не мог бы ответить ни на один вопрос и решить ни одной задачки. Поэтому мне хочется грубить учителям, смываться с уроков или хулиганить в классе. Причем, в отличие от моих десятилетних или двенадцатилетних едино-

мышленников, мне это ничем не грозит: меня не оставят на второй год, моих родителей не вызовут в школу, и никто не скажет, что меня ждет будущее бездельника и оболтуса, так как всем понятно, что независимо от моего трудолюбия и прилежания, меня ждет только печь крематория.

Почему же я сейчас сижу за машинкой на обломках своей жизни и долблю скорлупу яйца в надежде (без надежды) вылупиться из нее беспомощным, мокрым и беззащитным как цыпленок? Не потому ли, что я люблю, как не любил еще никогда в прошлом? А все мои размышления о старости, так же, как и все другие размышления, так же, как и эти жалкие письма, быть может, лишь скорлупа, лишь отходы чувственной жизни, т.е. единственно реальной жизни.

6

Сегодня я уже не ошибаюсь, ты не позвонил ни утром, ни вечером, значит, ты сейчас действительно уже где-то там, далеко и высоко, взбираешься на гору, согнувшись под тяжестью своего рюкзака.

Снизу, наверное, заметно, что на фоне снежного склона горы копошится несколько черных точек. Люди внизу, наверное, и тебя принимают за человека, за мужествен-

ного человека, противопоставляющего свою волю стихиям природы, и даже не догадываются, что эта маленькая точка лишь обман, лишь твоя одежда и твой рюкзак, а подлинный ты — совсем другой: легкокрылый эльф, каждый раз незаметно выпархивающий из скорлупы, по которой я много лет (всю жизнь) терпеливо бью молотком своего разума.

И в моей жизни ты выпорхнул однажды из стихов, выпорхнул настороженный, недоверчивый, полумальчик-полудевочка, получеловек-полузверюшка, полуреальность-полувымысел.

Когда я разглядел тебя получше, если только можно разглядеть нечто совсем прозрачное, то понял, что я всю жизнь был окружен невыносимо тяжелыми, устойчивыми, объемными предметами и людьми. Все, что меня окружало до встречи с тобой, имело четкие формы, углы, края, грани, плоскости, названия, объяснения. Все было порождено какими-то причинами и порождало какие-то следствия. Все подчинялось законам физики, химии, геометрии, логики, и, должно быть, именно поэтому тяжесть жизненного опыта лежала на мне, как могильная плита. И так как эта могильная плита, подобно всем другим предметам, была до отращения реальна, то я уже смиренно готовился улечься под нее по-

удобнее, втиснуться в землю, в глину, в историю, в месиво тел, лет, имсн, воспоминаний.

Я готовился к этому последнему в моей жизни делу спокойно и не спеша, с четким сознанием, что мой жизненный цикл завершен, что все узлы развязаны и занавес опускается.

И в это время я увидел очертания твоего мальчишко-девочкиного лица, услышал твою неуверенную дудочку и на моем старческом лбу почувствовал твоё дыхание.

Это дыхание было не похоже ни на что другое, испытанное мною прежде. Это было дуновение чего-то, не имеющего ни названия, ни формы, ни начала, ни конца, ни прошлого, ни будущего.

И тогда я догадался, что перед моей смертью меня посетило божество, которое живет в каждом произведении искусства, одухотворяя его своим дыханием. Я догадался об этом, когда услышал, как ты читаешь стихи поэта Б .

Поэт Б был человек больной. Он с трудом ходил, опираясь на палку. Тело не слушалось его: казалось, что каждая рука и нога хотят идти в другую сторону; и только, когда он садился в кресло, и ему больше не нужны были ни палка, ни ноги, ни руки, он обретал величие и спокойную уверенность в себе, как бы становился рупором чьего-то весьма

значительного и, быть может, даже не очень понятного самому поэту голоса, который жил самостоятельной жизнью в его ненадежном теле.

Поэт читал свои стихи монотонно, ничего в них не выделяя, и содержание его стихов, как бы тонуло, расплывалось в каких-то звуковых ассоциациях как в густом тумане, из которого редкими островками отчетливо проступали отдельные слова во всей своей реальности и предметной подлинности. По этим вершинам гор, выступающим из тумана, в моем воображении рисовалась величественная горная страна, где все вырублено природой незыблемо и навечно. И этот голос — голос надежности, уверенности и мужества — вызывал у меня мучительную зависть.

Ты слушал эти стихи, как слушал стихи других поэтов, приходивших ко мне, молчаливо и напряженно, как бы впитывая их в себя. И стихи эти падали в тебя, в какую-то твою глубину, так, что несколько дней спустя ты как бы совсем не помнил их. И вдруг, через какое-то время, эти строфы начинали подниматься в тебе из глубины, из каких-то недр; поднимались преображенные, ставшие почти что твоими собственными стихами.

Они выплывали из тебя, как облака, такие же причудливые, пышные, изменчивые, и когда ты стал говорить мне об этих не своих (не

своих?) стихах, то меня поразило, что, в отличие от всех иных людей, рассматривающих произведения искусства извне, ты рассматривал их изнутри — рассматривал алмаз стихотворения не как потребитель, а как бы сам находился внутри камня, сам являлся тем источником света, который, преломляясь сквозь грани кристалла, озаряет нас своим сиянием.

А способность излучать свет — это навверное, и есть то, что называют духовностью, или художественностью, или никак не называют, но чувствуют божественность, которая отличает живую бабочку от бабочки из коллекции.

А ты излучаешь этот свет. И твоим светом озаряется все, к чему ты прикоснешься. Это ты живешь в каждом произведении искусства. Это ты превратил мою старость в прекрасное стихотворение, в нежную мелодию, в то произведение, которое мне никогда прежде не удавалось создать.

Ты как спичка поджег мой затухающий костер, и языки пламени рванулись к небу.

Не покидай мой дом — свою часовню, свою пылающую часовню. Она пылает шумно и весело, с треском обуглившихся стропил, с искрами, разлетающимися вокруг.

Какая беспокойная ночь. Какая праздничная и тревожная. Не покидай свою часовню, не покидай ее! Пусть пылает она все ярче и

ярче. Тебе это ничем не грозит — ты бесплотен, как искра, и также мгновенен, и также неуловим. И, быть может, только это и влечет меня к тебе, и только этому я поклоняюсь.

7

Но ты больше не вернешься в свою часовню. Тебе, как и всякому отважному и вечно юному Богу, никто не нужен — ни снисходительные к тебе мудрецы, ни обожествляющие тебя глупцы. Потому что Бог один, и он сам в трагическом одиночестве непрестанно творит свой изменчивый мир, утверждая тем самым свое величие.

Ленинград.
1970 г.

СЕНЯ ЮШКИН И ЗЛЫЕ СОБАКИ

На нашей улице живет немало злых собак и разнузданных хулиганов. Они, как известно, не обладают ни ясным разумом, ни нравственными принципами, ни глубоким интеллектом. Поэтому им ничего не стоит без всякого повода наброситься на проходящего с лаем или бранью.

А Сеня Юшкин, друг моей далекой юности, нынче ставший неплохим писателем, писал стихи, учился в университете, обладал ясным разумом, твердыми нравственными принципами и глубоким интеллектом. Он был высокий и красивый парень, а глаза у него были детские — простодушные и доверчивые. И он никогда ни с кем не дрался, а во всех необходимых случаях пытался воздействовать своим личным примером и разумными доводами.

И если иной раз злая собака, сорвавшись с цепи, выскакивала из подворотни и бросалась на него с отчаянным лаем, норовя схватить его за ногу, то он останавливался перед ней, исполненный чувства превосходства человека над собакой, и старался убедить собаку, что у нее нет решительно никаких причин относиться к нему враждебно.

А собака в это время рвала в клочья его брюки.

И все ребята с нашей улицы потешались над ним.

— Ну и чудак ты, парень, — говорил умный Миша. — Разве так надо обращаться с собаками?

— Нет, наверно, не так, — печально отвечал Сеня Юшкин.

— Разве ты не видишь, что твой личный пример и разумные доводы на собак не действуют?

— Вижу, — отвечал Сеня Юшкин, зашивая порванные брюки. — Теперь я и сам убедился, что с собаками надо обращаться иначе.

И он стал обращаться с собаками иначе: заметив собаку, он спешил поскорей перейти на другую сторону улицы или шмыгнуть за угол.

Но, видя, что он убегает от собаки, ребята потешались над ним еще больше.

— Ну и трусливый ты парень, — говорил умный Миша, — просто позоришь всю нашу улицу. Такой большой и сильный, а не можешь справиться с какой-то собакой!

— А как с ней справиться, научи! — просил Сеня Юшкин. — Ведь не бросаться же мне на нее, когда она бросается на меня?

— А почему бы и нет, если к этому принуждают обстоятельства? — говорил умный Миша.

— Потому что я не собака, чтобы грызться с собаками, — отвечал Сеня Юшкин. — Потому что я человек и не хочу унижать своего человеческого достоинства.

— Какое же у тебя достоинство, если даже собаки тебя не боятся? — смеялся умный Миша. — Раз ты человек, то все собаки должны тебя бояться, а если ты от них убегаешь, то этим ты действительно унижаешь свое человеческое достоинство.

И так как умный Миша объяснял это весьма толково, а все ребята вполне соглашались с ним, и ребят на нашей улице было много, а Сеня Юшкин — один, и ему очень не хотелось унижать свое человеческое достоинство, то постепенно он, не хуже других, научился обращаться с разнузданными хулиганами и злыми собаками.

Теперь, стоит только собаке, сорвавшись с цепи, выскочить из подворотни, как он швыряет на землю свои стихи, и университетский значок, и ясный разум, и нравственные принципы, и глубокий интеллект и, встав на четвереньки, бросается к собаке и тоже лает на нее как умеет и норовит схватить ее зубами за лапу, так что иногда ему удается даже вырвать у нее клочок шерсти, и тогда собака убегает, поджав хвост и жалобно скуля.

А умный Миша говорит ему:

— Вот теперь ты научился обращаться с собаками, теперь ты не уронил своего человеческого достоинства.

И все ребята с нашей улицы глядят на Сеню Юшкина с уважением.

А он, смущенно пряча от нас доверчивые глаза, подбирает с земли свой ясный разум, и нравственные принципы, и глубокий интеллект, и стихи, и университетский значок и идет дальше по своим разумным, нравственным и интеллектуальным делам.

А я так и не научился обращаться с собаками и, заметив собаку, стараюсь перейти поскорей на другую сторону улицы или шмыгнуть за угол. И если даже все ребята с нашей улицы будут улюлюкать мне вслед, если даже собаки стаей бросятся на меня, чтобы перегрызть мне горло, я все-таки не стану на четвереньки и не залаю по-собачьи, и предпочту лучше умереть как человек, чем грызться с собаками как собака.

* * *

— Так ты хочешь умереть как человек? — сказал Сеня Юшкин.

— Нет, я хочу жить как человек, — ответил я снисходительно.

Он с тревожным вниманием смотрел на меня своими доверчивыми глазами.

— Так ты хочешь жить как человек, — глухо повторил он и долго молчал, о чем-то думая. Только изредка, услышав злое рычание собак, выглядывавших из подворотни, он и сам угрожающе рычал, оскалив зубы, и тогда собаки, поджав хвосты, прятались обратно в подворотню. — Ну, что ж, — сказал он с горечью, — пусть будет так. Я буду жить как собака, чтобы ты мог жить как человек.

И он пошел от меня походкой сильного, красивого, уверенного в себе человека, а я, пугливо поглядывая в подворотни, стоял как жалкая побитая собака.

* * *

— Ну и что же ты этим хочешь сказать? — спросил меня умный Миша, выслушав эту грустную сказку. — Кто же из вас, по-твоему, прав: ты или он?

Но я не знаю, что на это ответить, и я не знаю, кто из нас прав, и долгие-долгие ночи провожу без сна, прислушиваясь к яростному лаю собак, и сердце мое отзывается на него горькой болью. И я не могу уснуть, и мечусь по комнате, не находя себе места. И стучу в твою дверь, и бужу тебя, и прошу: помоги мне своим добрым и умным словом, мой неведомый друг-читатель.

КУВШИН

Как-нибудь ты встретишь меня под вечер на улице, изнемогающего от усталости, жары и жажды, и спросишь:

– Откуда вы бредете с этим мешком за плечами?

– С ярмарки, – скажу я, – с ярмарки.

– Что несете вы в своем мешке? – спросишь ты.

– Черепки, – скажу я, – битые черепки.

– Зачем вы купили битые черепки? – спросишь ты.

– Я не купил их, – скажу я, – я продавал кувшин. Ах, какой это был отличный кувшин! Я делал его сорок лет, почти всю жизнь, и был самым счастливым человеком на свете, потому что думал, будто я один могу сделать такой кувшин. Ах, какой он был большой! Какой удобный! Какой красивый! Я думал, что, имея такой кувшин, можно обойтись без водопровода, без колодца, без реки, потому что воды в нем каждому хватит на всю жизнь, и всегда она будет свежей и холодной. Я думал, что, как только принесу свой кувшин на ярмарку, покупатели окружают меня и будут выхватывать

кувшин из моих рук, разглядывая его и восхищаясь им, а мне отвалят на старость полный мешок благодарностей и почестей. Ах, какой это был кувшин!

– Как же вы не сберегли такой прекрасный кувшин? – спросишь ты.

– Я берег его, – сказал я, – очень берег. Обеими руками прижимал его к груди. Но вскоре увидел другого продавца. Он тоже обеими руками прижимал к груди свой кувшин. А потом я увидел и третий кувшин, и четвертый, и десятый. И были те кувшины несколько не хуже моего, а некоторые даже лучше. И не покупатели теснились вокруг меня, а я вместе с другими продавцами кувшинов толкался вокруг редких покупателей, протягивая им свой кувшин и расхваливая его громким голосом. Но голоса других продавцов были такие же громкие, как и мой, а некоторые кричали еще громче. А между тем пот застилал мои глаза, потому что солнце пекло все неистовее, вода в канавах пересохла, из единственного водопроводного крана возле уборной еле-еле капали редкие ржавые капли. И все, кто пришел на ярмарку, и продавцы, и покупатели, толпились у этого крана, подставляя под него ладони и отталкивая друг друга. И я тоже отталкивал других, чтобы напиться, и, складывая ладони лодочкой, я выронил свой кувшин, и вот... остались только черепки.

— Зачем же вы несете черепки домой? — спросишь ты.

— А как же, — отвечу я, — не возвращаться же с ярмарки с пустым мешком. Я думал, что он будет набит благодарностями и почестями, которые согревают старость, как сухие поленья в печке, а вот видишь, он набит черепками.

— Ну что ж, — захочешь ты меня утешить, — вы покажете эти черепки своим детям и внукам и скажете: "Я тоже всю жизнь трудился, как другие, а то, что мой кувшин разбит, так в этом не моя вина". И вашу старость будут согревать эти черепки, как других согревают сухие поленья в печке.

— Нет, — отвечу я тебе, — я не хочу, подобно другим старикам, сидеть у своего разбитого кувшина, напыщенный и важный, будто мой кувшин цел и служит людям. Я отнесу мешок к чистому и холодному роднику, который звенит в роще. Я высыплю в родник все свои битые черепки, и они будут лежать на дне вместе с камешками, и звон родника станет от этого еще мелодичнее. А сам я сяду на берегу, выну свой старый кисет и закурю трубку. И когда увижу на дороге прохожего, который спешит на ярмарку, крикну ему:

— Пстой, сынок. Если ты хочешь пить, то сверни сюда и напейся.

И услышав мой голос, ты, быть может, свернешь с дороги и, став на колени, напьешься

из родника, а потом бросишь в мой кисет свою благодарность.

— Спасибо тебе, старик, отличная водичка! — скажешь ты, утирая рукой мокрые губы.

А дома, вечером, оставшись один, я выну из кармана кисет и стану раскачивать его возле своего уха и слушать, как звенят в нем, подобно медным монеткам, маленькие и небрежные "спасибо". И, может быть, я расслышу в этой тихой музыке и звон твоей монетки, и тогда мой старческий вечер станет не грустным, а милым.

ИСПОВЕДЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ

Ты пишешь, что прочитал мою книгу, и она тебе не понравилась. Ты спрашиваешь, почему я не пишу правдивых рассказов о своей подлинной жизни, и с доверчивой тревогой юности опасаясь, что, может быть, чего-то не понял в моей книге, и, жалуясь на свою неопытность, признаешься, что и сам пишешь рассказы, и не знаешь, хорошие они или плохие, и просишь объяснить тебе, почему я пишу так, а не иначе, и что считаю хорошим, а что плохим, и как отличить хорошее произведение литературы от посредственного.

Я очень хотел бы объяснить тебе это по-лучше. Но, хотя с четырнадцати лет я полюбил литературу и до сих пор люблю ее со всем юношеским безрассудством, с муками ревности и тайными надеждами, с робким отчаянием и неудержимой радостью, я чувствую себя таким же незнающим и неопытным, как и ты, и тоже не могу ничего написать так, как хочу, а могу писать только так, как могу, и объяснить тебе, чем отличается хорошее произведение от посредственного, я тоже не мо-

гу, а могу лишь поделиться с тобой некоторыми неточными наблюдениями и сомнительными обобщениями, которые мне самому нисколько не помогают писать.

И ты не придавай им особого значения. Мир и без них наполнен бесчисленным множеством отличных наблюдений и обобщений, изящных мыслей и спорных выводов, и что бы ни сказал я, это, наверно, уже было сказано до меня, и я не знаю, что сказал я, а что сказали другие.

Но это тоже не имеет значения. Ведь я вовсе не хочу ничего утверждать, я хочу только, чтобы зубцы моих мыслей зацепили зубцы твоих мыслей и колесо моих размышлений привело в движение колесо твоих размышлений.

Хотя размышление — занятие в высшей степени безответственное.

Можно отвечать за свои поступки, можно отвечать за свои слова, но как отвечать за свои мысли, которые поддаются не предварительному, а лишь последующему контролю?!

Конечно, было бы проще подобрать цитаты из обстоятельных ученых сочинений, и, комбинируя эти цитаты, я без особого труда объяснил бы тебе, чем отличается хорошее произведение от посредственного, но я предпочитаю не прибегать к цитатам. Ведь цита-

ты как кубики: что захотел, то и построил. Хочешь — дом, а хочешь — пирамиду. К тому же, каждая цитата может быть опровергнута какой-нибудь другой цитатой. Так что объяснять что-нибудь с помощью цитат, на мой взгляд, столь же тщетная попытка, как накормить голодного по телефону.

Нет, я не стану этого делать. Я предпочитаю повести тебя за собой по тем извилистым тропам, по которым блуждаю сам. Давай размышлять вместе, если, конечно, тебе нравится такое занятие, и ты не предпочитаешь пользоваться готовыми утверждениями, которые избавят тебя от необходимости думать самостоятельно.

Я полагаю, что спорное течение мыслей может представлять не меньший интерес, чем бесспорное утверждение. Течение — это стремление вперед, это подстерегающие нас подводные камни неожиданностей, открытий и разочарований. Всякое же утверждение — это стоп! Остановка. Во всяком утверждении предполагается конечность мысли: зачем искать уже найденное? Зачем хватать уже схваченное? Поэтому всякое утверждение в некоторой степени мертво, как мертво все, лишённое движения, течения, процесса.

Когда я что-нибудь утверждаю, я как бы бросаю якорь, закрепляющий неудержимые

мысли на месте, или строю запруду, преграждающую их течение.

Но мне что-то вовсе не хочется строить запруду и ограничивать свободу своих мыслей.

Ты справедливо возразишь мне, что если бы мысли не останавливались, а текли бесконечно, опровергая одна другую, то нельзя было бы совершить ничего практического, что только остановленная мысль вызывает действие.

Ну что ж, если ты хочешь извлечь из моих писем какую-то практическую пользу, то бросай якорь там, где найдешь нужным, и утверждай то, что я утверждать не решаюсь.

Всякое утверждение может быть опровергнуто. Только течение мыслей опровергнуто быть не может. Весь процесс мышления — это непрерывный спор с самим собой. А как опровергнуть спор?

Ты скажешь, что не всякое утверждение может быть опровергнуто, что есть истины очевидные всем, которые опровергнуть нельзя.

Но я не питаю почтения к истинам, хотя многие из них, действительно, опровергнуть трудно. Я не питаю к ним почтения, потому что подозреваю, что многие и мои, и твои, и наши общие заблуждения и беды замешаны именно на тех истинах, которые казались или кажутся нам бесспорными.

Каждая истина воинственна и безжалостна. Каждая истина фанатична и ограничена. Она

марширует под оглушающую дробь барабанов и топчет своими сапожищами все, что противоречит ей. И поэтому нередко она оставляет после себя мертвую пустыню, где не растет ничего, кроме жестких колючих слов.

Много истин уже всходило и закатывалось на горизонте человеческих надежд. И, возвещаемые торжественным трубным гласом, взойдут новые истины. И снова закатятся.

Правда, многое из того, что я вовсе не хочу утверждать, будет в этом письме звучать как утверждение. Но ты не спеши соглашаться с этими призрачными утверждениями. Разве не достаточно тебе тех авторитетов, с которыми ты можешь соглашаться всегда и по всякому поводу? Ты опровергай мои утверждения, как я сам мог бы их опровергнуть; ты спорь со мной со всей запальчивостью юности, и я буду рад признать себя побежденным, потому что юность обязательно должна нанести поражение старости, иначе история стала бы пятиться назад.

Рискуя навлечь на себя гнев моих сверстников, я должен признаться, что каждый неопытный и немудрый юноша мне интереснее, чем десять опытных и мудрых старцев. Хотя бы потому, что у юноши жизнь впереди, а у старцев она позади. Хотя бы еще и потому, что юноша может когда-нибудь оказаться Львом Толстым или Шекспиром, а старец,

если он не Лев Толстой и не Шекспир, уже не имеет никакой надежды стать ни тем, ни другим.

И так как я не стал ни Львом Толстым, ни Шекспиром, а стал весьма посредственным писателем, но зато чрезвычайно усердным, влюбленным и пристрастным читателем, то к моим размышлениям ты отнесись только как к размышлениям безответственного читателя, потому что, как ты знаешь, писатель несет большую ответственность перед читателем, но читатель перед писателем никакой ответственности не несет.

2

Чем человек меньше думает, тем больше он уверен, что все знает. Так, по крайней мере, было со мной.

В молодости я судил книги четко и жестко. Как критик.

— Это хорошая книга, — говорил я, — она написана без завитушек и украшений, а язык писателя должен быть простым, естественным.

— Это плохая книга, — говорил я, — она многословна и растянута, а краткость есть лучшее украшение ума.

— Это хорошая книга, — говорил я, — она правдива, а искусство не терпит лжи.

Так я судил книги в молодости.

Но, став старше, я с удивлением заметил, что к Лескову и Бабелю меня влекут как раз те затейливые узоры и украшения, которых в простой и естественной речи почти не услышишь.

И еще я заметил, что Достоевский и Томас Манн доставляют мне особую радость — один своим торопливым, а другой неторопливым многословием, — и если бы они писали кратко, то их ум потерял бы для меня половину своей красоты.

И еще я заметил, что Андерсена и братьев Гримм я люблю вовсе не за то, что есть в их сочинениях правдивого, а только за их небылицы.

Совершив это весьма наивное открытие, я понял, что одних писателей я люблю за те же самые качества, за которые осуждаю других.

Это было не только наивное, но и грустное открытие. Раньше мне было так легко и удобно — я знал, что люблю тех писателей, которые пишут кратко, просто и правдиво. А теперь узнал, что люблю и тех писателей, которые пишут длинно, затейливо и неправдоподобно.

Разобраться в этом оказалось так же трудно, как выразить словами то неясное и нестойкое чувство приязни и неприязни, влечения и отталкивания, любопытства и безразличия, ко-

торые я испытываю, читая книги различных писателей.

Сначала у меня возникло предположение, что дело, может быть, в совпадении идей — моих идей и идей писателя. Но это предположение довольно быстро пришлось опровергнуть, потому что я вспомнил немало таких писателей, которые думают точно так же, как я, но, несмотря на это, я не могу дочитать их книг до конца, и в то же время мне вспомнились другие писатели, идеи которых мне чужды и неприемлемы, но чьи произведения я могу без конца перечитывать, испытывая при этом пронзительное волнение и неизъяснимое счастье.

Тогда я подумал, что дело, быть может, в самом имени великого писателя, в обаянии этого имени. Ведь имя великого писателя — это не только сумма его произведений, но и олицетворение всей его жизни, его нравственного облика, его подвига, — а какой же великий писатель без подвига?

Быть может, думал я, Гоголь вовсе не был бы для меня Гоголем, если бы он только написал то, что написал. Быть может, думал я, чтобы стать для меня Гоголем — моим вечным прекрасным другом и спутником, — он должен был не только написать то, что написал, но и прожить жизнь он должен был только так, как прожил ее, и даже умереть должен был только так, как умер.

Мне представилось, что та легенда, которая обычно создается вокруг жизни и смерти каждого великого писателя, как бы бросает отблеск на все его произведения. Так солнце бросает отблеск на облако, наполняет его игрой и трепетом красок. А убери это облако с неба, помести его под потолком среди четырех стен, и ничего не останется от его живой прелести — только серый клочок тумана.

Так я заподозрил, что между всей жизнью писателя и каждым его отдельным произведением существует какая-то более глубокая и интимная связь, чем это представлялось мне прежде.

Но вдруг память подсказала стихотворение Леонида Мартынова "Лукоморье".

Это стихотворение мне впервые встретилось много лет назад. О Леониде Мартынове я не знал тогда ничего. За ним не было ни биографии, ни легенды. Имя было немым. Но в журналах и газетах я встречаю ежедневно столько немых имен под такими же немymi стихотворениями, что стараюсь улизнуть от них или, в лучшем случае, представляю им самим тщетно стучаться в мое сердце, битком набитое и уже почти пресыщенное любимыми и великими именами. И вот — "Лукоморье". Я не успеваю еще дочитать стихотворение до последней точки, а новый голос уже врывается в мое

сердце, расталкивает там любимых и великих и уверенно занимает среди них свое место.

”Значит, дело не в биографии, — сказал я себе, — и не в имени, и не в отблесках солнца на облаке, а только в качествах самого произведения”.

Но четко обозначить эти качества я не мог, потому что и понятие ”близкая мне направленность мысли”, и понятие ”поэтичность”, и понятие ”глубина” — все они были приложимы и ко многим другим стихотворениям, которые не оставили в моем сердце никакого следа.

И вдруг возникла совсем уже странная догадка: а может быть, дело вовсе не в писателе, а только во мне самом? Ведь от того, что мой радиоприемник отлично принимает радиостанцию Ленинграда, но не принимает радиостанцию Лондона, я не делаю вывод, что радиостанция Лондона работает плохо; я делаю другой вывод, что мой приемник недостаточно хорош. Так, может быть, и секрет того впечатления, которое производят на меня произведения Гоголя или Мартынова, заключен не в них, а во мне? Не в их качествах, а в моих качествах? И литературоведению, может быть, следует заниматься не столько изучением писателей, сколько изучением читателей?

Это была очень соблазнительная и опасная догадка, тем более, что как раз в это время я

сделал еще одно, по всей вероятности, столь же наивное и недостоверное наблюдение.

Я заметил, что говоря: "это красиво" или "это некрасиво", я не вкладываю в эти понятия никакого разумного содержания и совершенно не могу объяснить, почему мне кажется красивым голубой цвет и некрасивым – грязно-серый? Почему красив прямой нос и некрасив вздернутый мясистый носище? Почему красив звук флейты и некрасив звук плохо смазанных тормозов?

Я искал ответа на этот вопрос во многих книгах, в различных явлениях природы и произведениях искусства. Часами глядел на голубое небо и на старые выцветшие обои. Наблюдал за красивыми людьми и за некрасивыми. Вслушивался в звук флейты и в скрежет тормозов. И не мог найти объяснения этой загадки, пока не догадался поискать разгадку в себе самом, подозревая, что нет большего авторитета во всем, что касается моих собственных чувств, чем я сам.

Тогда я неясно уловил, что красивым я считаю то, что вызывает у меня какие-то приятные ассоциации, неосознанные или осознанные напоминания о каких-то других произведениях искусства или явлениях природы, доставивших мне в прошлом радость, или о самой радости, когда-то пережитой мной. Быть может, прямой нос напоминает мне какие-то скульптуры, кар-

тины или лица людей, а вздернутый мясистый носик напоминает пяточок свиньи, которая ассоциируется в моем сознании с нечистоплотностью. Быть может, звук флейты напоминает музыку, концерты в филармонии, свирель пастуха, которую я однажды прекрасным летним вечером слышал в горах Закарпатья, а скрежет тормозов пробуждает неосознанные воспоминания о людях, попавших под трамвай или автомобиль, о несчастных случаях, о крови и смерти.

Я не стану утверждать, что это объяснение убедительнее или справедливее, чем всякое иное объяснение красоты, но когда я нашел его, то заподозрил, *что между всей моей жизнью и каждым отдельным произведением писателя существует какая-то более глубокая и интимная связь*, чем это представлялось мне раньше.

3

Однако такого рода наблюдения, догадки и недостоверные открытия нисколько не помогли мне понять, чем отличается хорошее произведение литературы от посредственного. Они только помогли отказаться от юношеской категоричности оценок, и я стал входить в каждую библиотеку, в концертный зал и на художественную выставку, как верующий входит в храм — с восторгом, благоговением и с некото-

рым страхом перед величием и тайной уходящих в полумрак сводов.

Под этими великолепными сводами, от самого входа до алтаря, навалены груды романов, повестей, рассказов, пьес, стихов, музыкальных, архитектурных, живописных и скульптурных произведений, названий которых я не помню, так же как и их авторов.

Пробираясь среди этого пестрого товара, я доверчиво открываю свое сердце то одному произведению, то другому, отыскивая среди них те довольно редкие произведения, которые превращают этот толкучий рынок в священный храм. И нахожу их, эти редкие чудеса искусства, и снова спрашиваю себя, чем отличаются они от всего, что их окружает?

Быть может, они отличаются тем же, чем чудо природы — жемчужина, за которой люди, рискуя жизнью, ныряют на дно океана, отличается от искусственного жемчуга, изготовленного в цехе ширпотреба какой-нибудь фабрики.

Стоит художнику создать произведение, привлекающее к себе внимание общества, как десятки, сотни или тысячи подражателей, используя открытия и приемы, найденные этим художником, создают по его образцу свои собственные произведения, наивно полагая, что их искусственный жемчуг, сделанный в цехе ширпотреба, будет почти так же хорош, а иногда

даже лучше, чем настоящий жемчуг — редкое и удивительное чудо природы.

И действительно, я не умею отличить настоящий жемчуг от искусственного, и я не уверен, что всегда умею отличить подлинное чудо искусства от подражания ему.

Я думаю, что подражательность — это главная опасность, которая подстерегает каждого человека, занимающегося искусством. Но, написав это, я очень опечалился, потому что понял, что и сам я всю жизнь борюсь с желанием подражать любимым писателям. Стоит мне прочитать Лоренса Стерна, — и хочется писать, как Стерн. Стоит прочитать Томаса Манна, — и хочется писать, как Манн. А стоит прочитать Андрея Платонова, — и хочется писать, как Платонов.

Не презирай меня за это. Ведь, подражая другим, я научился ходить, говорить, читать. Как мне не подражать другим, учась писать?

— Разве Лермонтов не подражал Пушкину? — спрашивал я себя. — Разве Достоевский не учился у Гоголя?

Но задавая себе эти вопросы, я уже нащупываю ответ: я чувствую, что люблю Лермонтова не за то, что есть у него общего с Пушкиным, а именно за то, чего у Пушкина нет. И Толстого, и Достоевского я люблю не за то, что у них есть общего, а за то, что их отличает друг от друга.

—
Так я догадываюсь, что самое ценное в художнике — это его отличие от всех других художников, и если бы ты обратился ко мне за советом, то, мучительно преодолевая в себе властное влечение ко всякой подражательности, я рискнул бы дать тебе такой совет: цени в себе не то, что есть у тебя общего с самыми лучшими писателями, а только то, что тебя от них отличает.

4

Но что отличает одного художника от всех остальных?

Наверно, то же самое, что отличает каждое явление от всех других. А одно явление отличается от других только тем, что оно всегда что-то прибавляет ко всем другим. Если бы одно явление решительно ничего не прибавляло ко всем другим, то мы не могли бы отличить одного от многого.

Я предполагаю, что каждый художник, привлечший мое внимание, вносит нечто новое в мое восприятие мира, тем самым делая для меня мир богаче, разнообразнее и прекраснее.

В чем же проявляется то новое, что дает мне художник?

Я роюсь в своей памяти и вспоминаю произведения, которые поразили меня изображе-

нием новых событий, характеров, мыслей или чувств.

Но я вспоминаю и такие произведения, которые изображают уже известные мне события, характеры, мысли или чувства. Однако в них есть какие-то новые, неизвестные мне прежде детали, штрихи, оттенки, и от этого не новые для меня события, характеры, мысли или чувства поражают меня, как новые.

Я роюсь в памяти дальше. Я вспоминаю и такие произведения, в которых уже известные мне события, характеры, мысли или чувства переносятся автором в иную среду, в иное время, иначе сталкиваются между собой или даже просто иначе выражены, и от этого опять-таки не новые события, характеры, мысли или чувства поражают меня, как новые.

Наконец, я вспоминаю и такие произведения, в которых не могу найти для себя ничего, кроме... кроме нового отношения художника к уже известным мне событиям, характерам, мыслям или чувствам.

Так я догадываюсь, что любой отлично знакомый мне предмет, или самое обыденное событие, или самая повседневная мысль, или самое привычное чувство, если художник проявит к ним новое отношение, могут поразить меня так же, как никогда не виденный предмет, или самое невероятное событие, или неожиданная мысль, или неиспытанное чувство.

Конечно, и это было наивным открытием, но меня оно захлестнуло восхищением: значит, художник владеет могучим, почти колдовским средством обновления всех предметов, всех явлений, всех мыслей, всех чувств — всего мира.

И тогда мне показалось, что я понял природу своей любви к искусству. Должно быть, беря в руки новую книгу или идя на концерт, я всегда ожидаю, что сейчас мне откроется нечто новое. А новое обещает, манит, зовет. Радостным ожиданием и предощущением неведомого объяснял я в ту пору странную власть искусства над собой.

Но почему же, в таком случае, я могу трижды перечитывать одну и ту же отлично известную мне книгу или без конца ставить на проигрыватель одну пластинку?

Наверное, это происходит потому, что с одного раза я не сумел исчерпать все то новое, что могла дать мне эта книга или эта пластинка. Ведь однажды исчерпанное я не мог бы исчерпать вторично.

5

И все же я несколько не объяснил себе, почему один художник открывает мне в мире нечто новое, а другой не может этого сделать, и почему вообще для меня имеет значение, как

тот или другой художник относится к какому-нибудь предмету или явлению.

Однажды я увидел две небольшие картины, написанные студентами Академии художеств. На обеих была изображена одна и та же снежная вершина. Оба художника писали эту вершину, по-видимому, с одного места, в один день и час. И освещена вершина на обеих картинах одинаково, и снег на ней блестит так же, и небо такое же, и те же облака. А картины получились разными. Одна — почему-то радостная, и горы на ней нестрашные, и думаешь: как щедро, величественно и прекрасна природа. А другая — мрачная, и горы на ней зловещие, и думаешь: какой вокруг нас грозный мир, и как природа враждебна человеку.

”Почему же эти картины получились разными? — думал я. — Не потому ли, что два художника находились в разных душевных состояниях, и поэтому их отношение к одному и тому же пейзажу было разным?

Так возникла мысль, что отношение человека к предмету или явлению, быть может, не столько выражает этот предмет или это явление, сколько выражает самого человека, его душевное и физическое состояние, его личность.

Сравнивая отношение разных людей к одному и тому же событию или предмету, мы сравниваем идейные позиции этих людей, их соци-

альные или исторические особенности, их характеры, их личности. Не потому ли мне было интересно рассматривать две картины, изображающие одну и ту же снежную вершину? Быть может, я рассматривал не одну снежную вершину, а две разные личности?

Не потому ли десять писателей или художников могут изобразить один и тот же предмет или одно и то же событие, и это будет десять различных произведений?

И вдруг мне показалось, что в каждом произведении искусства меня не столько привлекает то, что в нем изображено, сколько отношение автора к тому, что он изобразил.

Я вовсе не хочу, чтобы из этих строк ты сделал вывод, будто мне не интересно объективное содержание, скажем, "Войны и мира", те исторические картины и картины нравов, которые там содержатся, но если мне хочется есть, я хлеб с маслом предпочитаю пирожному, а если мне хочется познакомиться с историей, я самому лучшему роману предпочту исторические монографии, сборники документов и мемуары современников.

Я понимаю, что это опасная мысль, что она может привести меня к таким выводам, которые мне вовсе не хочется делать, и, чтобы проверить себя, я нарисовал в своем воображении кощунственную картину: я вообразил содержание "Войны и мира", изложенное совершенно

объективно, не окрашенное ни размышлениями Толстого, ни его любовью, ни его насмешкой, ни его гневом, и я понял, что мое воображение создало какую-то совсем другую книгу, не имеющую ничего общего с той, которая стала одним из самых верных спутников моей жизни.

И тогда возникло совсем уже опасное подозрение, которое страшно даже написать на бумаге: а верно ли, что мне так уж интересны характеры и мысли Андрея Болконского, Пьера Безухова и других героев Толстого? Может быть, мне интересно только отношение Толстого к этим людям? Но если это так, значит, меня интересует не столько Андрей Болконский и Пьер Безухов, сколько сам Толстой; тогда, выходит, что не они, а он — главный герой романа.

Низвергнуть с пьедестала любимых героев, которые уже давно стали мне близки как братья, было трудно. Я стал искать доводы против своего рискованного подозрения и в поисках таких доводов нарисовал в своем воображении еще одну кощунственную картину: я представил себе, что о тех же героях написал роман не Толстой, а скажем, Александр Дюма; Андрей Болконский тогда, наверное, был бы похож на д'Артаньяна. Нет, такой Болконский не стал бы моим любимым другом и собеседником. Следовательно, Андрей Болконский ин-

интересен мне только тем, что вложил в него Лев Толстой.

Так вторая кощунственная картина подтвердила первую, и я со страхом и удивлением поверил, что единственный подлинный герой всякого произведения искусства — это его автор.

6

”Ну, что же, — сказал я себе, — почему же автор, живой человек, имеет меньше права быть героем своего произведения, чем вымышленные Андрей Болконский и Пьер Безухов? Ведь самое интересное в окружающем меня мире — это живой человек. Только ради человека — одного, нескольких или многих — я делаю все, что делаю. Человек — это единственный повод всех моих поступков, и единственный их судья, и единственная абсолютная ценность в мире”.

А в человеке, пожалуй, всего интереснее — его индивидуальность, непохожесть на других, то, что отличает каждого от всех, то, что спутывает все карты и наполняет жизнь событиями, неожиданностями, бедами, счастьем и нескончаемым захватывающим сюжетом. Если бы каждый человек не отличался от всех других, то люди были бы неинтересны, как бутылки для нарзана.

Я думаю, что нет и быть не может человека, который был бы лишен индивидуальности. Но выявить свою индивидуальность удается не каждому. Некоторые так и живут всю жизнь в скорлупе чужих слов, мнений, знаний, даже не подозревая, что они, как и каждый человек на Земле, исключительны, неповторимы, ни на кого не похожи и являют собой чудо природы.

Вот я смотрю сейчас в окно и вижу там ясное синее небо. Я написал это, но должен признаться, что солгал. В действительности, я вижу небо вовсе не таким уж ясным, а чуть как бы в дымке, и оно какое-то текучее и расплывающееся. Слово "ясное" так же мало определяет его, как и слово "синее", потому что оно сейчас вовсе не синее, а скорее голубоватонепжное и в то же время пронзительное и слепящее. Но я столько читал и слышал от других, что безоблачное небо называют ясным и синим, что даже не попытался изобразить то, что увидел в окне, а предпочел легко и бездумно написать привычные слова, которые нисколько не передают того, что я вижу в действительности, а лишь намекают на некое всеобщее, т.е. ничье, и потому весьма приблизительное восприятие безоблачного неба.

Наверное, так бывает не только со мной.

Быть может, именно для того, чтобы выразить не всеобщее-приблизительное, а подлинное,

свое собственное видение природы, Блок писал: "Бегут, бегут испуганные тучи, закат в крови. Закат в крови! Из сердца кровь струится!" Или Некрасов: "Как молоком облитые стоят сады вишневые, тихохонько шумят". Или Пушкин: "И ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла". Или Есенин: "Отрок-ветер по самые плечи заголил на березке подол".

Написать так, как написали Блок, Некрасов, Пушкин, Есенин, наверное, очень страшно: а вдруг не поймут! А вдруг не поверят! А вдруг осмеют!.. Но в этом, быть может, в способности сбросить с себя скорлупу чужих или всеобщеприблизительных представлений и изобразить вещь или явление так, как художник видит их в действительности, и состоит то, что называется талантом. И в этом, быть может, тайна таланта, и трагедия его, и сладостная привлекательность, и непонятная сила.

7

Долгое время я не мог понять, почему музыка Шостаковича или Прокофьева вызывает у меня тревожное и радостное чувство сооткрытия, которое, по всей вероятности, и есть чувство современности... Долгое время я не мог разобраться, почему живописцы Пименов или Дейнека изображают мир иначе, чем изобра-

жали его Репин или Суриков, и почему, вообще, художники не остановились на однажды, много веков назад, найденных приемах своего искусства, которые позволили им создать прекрасные и бессмертные творения? Почему каждое поколение как бы обновляет эти приемы и ищет свои собственные, и пейзажи Левитана не похожи на пейзажи Рериха?

Вопрос о традициях и новаторстве, о котором так много пишут, казался мне каким-то более интимным и менее зависимым от желания или разумения художника, потому что, как я подозреваю, всякий подлинный художник может писать вовсе не так, как он хочет, а только так, как он может. И еще потому, что я вспоминаю некоторых писателей, которые изображают далекое прошлое, но пользуются при этом самыми современными художественными средствами. И вспоминаю других писателей, которые изображают современную нам жизнь, но изображают ее теми же средствами, которыми пользовались писатели далекого прошлого, и, может быть, именно поэтому изображение у них получается искаженное, туманное и приблизительное.

Все это было мне не совсем понятно, пока не возникло предположение, что подлинно свое, индивидуально-конкретное видение мира всегда и неизбежно будет современным.

Если художник изображает действительность так, как видит и понимает ее сам, а не так, как видел и понимал ее Лев Толстой или Леонардо да Винчи, то его изображение не может не быть современным, так как всякая личность современна, она — порождение и итог всей совокупности явлений прошлого и настоящего.

Даже попик с косичкой, которого я как-то встретил в одной деревне вблизи Луги, — это современный попик, тем более, что до духовной семинарии он окончил индустриальный техникум. Даже парализованная восьмидесяти-трехлетняя бабка из далекой таежной деревни, которая никогда не видела поезда и не бывала в кино, — это современная бабка, потому что ее сын работает трактористом, ее лечили пенициллином, она видела самолет и слышала про атомную бомбу.

Я просто не могу представить себе такой человеческой личности, которая была бы несременной, если, конечно, современность не понимать слишком поверхностно и схематично, а воспринимать ее во всей действительной сложности сочетания элементов прошлого с элементами будущего.

Но тут у меня возникает другой вопрос: а каковы, вообще, пути познания личности?

У меня есть сотни знакомых, несколько друзей, дети и внуки. Но даже тех из них, кото-

рые мне наиболее близки и понятны, я знаю только как суммы их поступков и слов. И вот возникает сомнение: а действительно ли я знаю этих людей – своих знакомых, друзей, детей и внуков? Быть может, я знаю их только так же, как часы: вижу лишь циферблат, по которому движутся стрелки, и по движению стрелок сужу о самом механизме.

Даже в самых близких людях, на самом деле, мне неизвестны миллионы причин и поводов, которые порождают каждый поступок и каждое слово. Ни я, да, пожалуй, и никто другой не способен охватить сознанием все многообразие внешних и внутренних явлений, определяющих личность человека.

Можно не понимать себя или других. Можно лгать себе о себе, или другим о себе, или себе о других. Но существует отношение человека к вещам и явлениям. Отношение человека к миру как в фокусе собирает все его чувства и мысли, все особенности его общественного и материального окружения, его характера, физиологии, наследственности, психологии, которые всегда и неизбежно несут на себе несмываемый след современности. А запечатленное и материализованное отношение человека к миру – это, может быть, и есть произведение искусства?

Так у меня возникло еще одно предположение, что искусство – это единственное сред-

ство познания человеческой личности во всей ее подлинности и неповторимости. А узнавая подлинную личность художника, я по аналогии сужу и о самом себе, и о своих друзьях, и о детях, и о внуках, и обо всех других людях.

Так художник помогает мне понять людей, а искусство связывает меня со всеми людьми на Земле — и с моими современниками, и с теми, кто жил до меня, и с теми, кто будет жить после меня.

8

Итак, блуждая по извилистым тропкам своих размышлений, я, кажется, добрался до весьма шаткого вывода: мне представляется, что хорошее произведение искусства отличается от посредственного тем, что его автор способен бесстрашно сбросить с себя все, что не есть его подлинная индивидуальность, и, представ передо мной во всем захватывающем своеобразие своей личности, наиболее правдиво выразить свое отношение к миру, изображая его таким, каким он видит его в действительности.

Но добравшись до этой лужайки, я снова натываюсь на вопрос, а можно ли вообще верно и точно изобразить с помощью слов то, что ты видишь и чувствуешь?

Что общего, например, между словом "тело" и моим телом, которому бывает холодно и

жарко, которое может болеть и нежиться, которое когда-то лежало в воронке от снаряда, ослабевшее и немощное, истекая кровью?.. А слово "хлеб"! Оно не имеет ни объема, ни вкуса, ни возможности насытить. Разве есть хоть что-нибудь общее между этими четырьмя буквами и тем куском хлеба, который можно намазать маслом, или обмакнуть в чай, и кусать, и жевать, а потом почувствовать бодрящую и благодушную сытость?

Задавая себе такие вопросы, я пришел в полное отчаяние. Оказалось, что, пытаясь объяснить себе и тебе такое сложное явление, как разница между хорошим производением и посредственным, я не могу объяснить даже самых простых вещей, известных каждому: например, в чем разница между сладким и соленым, или что я чувствую, когда мне весело, и что я чувствую, когда мне грустно.

Вообще, чем больше я думал о слове, тем больше убеждался, что слово само по себе, взятое вне связи с другими словами, — и материал ненадежный, и инструмент несовершенный. Жизнь состоит только из частных вещей, а слово, как мне кажется, всегда обобщает. Единственной и неповторимой вещи, единственному и неповторимому явлению слово приписывает кажущуюся множественность и повторяемость. Только в сочетании с другими словами обобщающее и повторяемое слово приобретает

единственность, конкретность и неповторимость подлинной вещи или подлинного явления. В живой и художественной речи слова сталкиваются, ссорятся, мирятся, взрываются, дружат, убивают друг друга, и именно в этой напряженной жизни, полной конфликтов и драматизма, у них появляется запах, цвет, блеск и вкус.

Мне кажется, что художественную литературу следовало бы называть не искусством слова, а искусством сочетания слов. И чем драматичнее, многообразнее сочетание слов, тем больше речь приближается к той, которую мы называем художественной, тем больше автору удастся словесно выразить непрестанно текущую действительность, состоящую исключительно из частных и конкретностей.

9

Мне хочется написать так: научное творчество "создает" идеи, техническое творчество "создает" вещи, а художественное творчество "создает" чувства. Но между идеей, вещью и чувством я улавливаю очень существенную разницу.

Твоя вещь может быть одновременно и моей вещью. Допустим, что у нас с тобой есть общая книга. И ты и я точно знаем, что мы владем одной и той же книгой.

Твоя идея может стать и моей идеей. Допустим, что у тебя возникла идея пожертвовать эту книгу в библиотеку. Я принял твою идею, и она стала нашей общей идеей, и ты и я точно знаем, что мы хотим сделать.

Но попробуй рассказать или изобразить каким-нибудь другим способом, что ты чувствуешь, когда тебе смешно или когда тебе скучно. Ты не можешь этого сделать, как не могу и я.

В 1942 году, во время ленинградской блокады, мне очень хотелось описать чувство голода. Я лежал тогда после ранения в госпитале, постоянно голодный. Все окна были забиты фанерой (потому что стекла от артобстрела вылетели), поэтому и днем и ночью было одинаково темно. У меня не было никаких занятий, даже читать нельзя было, и все время я внимательно анализировал свои переживания и подыскивал те слова, которые хоть в какой-нибудь степени могли передать другим то, что чувствовал я в животе, в гортани, во рту, под ложечкой, в руках, в ногах, во всем теле. Но таких слов в моем распоряжении не оказалось. Нет их и сейчас.

”Но если существует язык для точного выражения идей, — сказал я себе, — то, наверное, должен существовать и язык для точного выражения чувств. По-видимому, таким языком, выражающим наши чувства, является художественное творчество”.

Это была весьма соблазнительная мысль, и я очень ей обрадовался, пока не возникло сомнение: а можно ли с помощью художественного творчества передать другому хотя бы свою зубную боль или свой голод?.. И тогда мне показалось, что даже искусство не может сделать чувства одного человека достоянием другого человека, а может лишь вызвать с о ч у в с т в и е, то есть возбудить в другом человеке его собственные чувства, более или менее схожие с теми, которые испытывает художник.

Я понимаю, что это предположение спорно и у многих вызовет возражения, но...

...Над моим столом висит маленькая картинка. На ней изображен восход солнца. Я не знаю, что переживал живописец, когда писал этот пейзаж. Я догадываюсь, что его чувства были так сложны, многообразны и невыразимы, что совершенно напрасной была бы даже попытка изобразить их красками. Как их изобразить — чувства? Ведь они не имеют ни формы, ни цвета. И живописец, по всей вероятности, не стал предпринимать этой напрасной попытки. Он изобразил самый восход солнца, изобразил его так, как увидел, справедливо полагая, что если я увижу то же самое, что увидел он, то и я буду переживать нечто похожее на то, что пережил он. И вот теперь я гляжу на эту маленькую картинку и чувствую нечто

радостное, и в то же время слегка грустное, и очень нежное, и трепетное, и прохладное, и абсолютно невыразимое словами.

И вдруг у меня возникает еще одно весьма неожиданное предположение. Я еще боюсь сформулировать его, таким оно кажется мне невероятным и спорным.

Я достаю с книжной полки "Войну и мир", перелистываю страницы, читаю о смерти Андрея Болконского.

Я много раз перечитывал этот эпизод в разные годы своей жизни и всякий раз дивился тому искусству, с которым Толстой изобразил чувства умирающего Андрея.

Я перечитываю эти страницы снова, и вдруг мне открывается, что Толстой вовсе не изобразил чувства умирающего Андрея, а изобразил он только то, что Андрей видел, слышал и думал в минуты, предшествовавшие его смерти, т.е. только то, что может быть выражено словами. И я, читатель, как бы вижу то, что видел умирающий Андрей, и как бы слышу то, что он слышал, и как бы думаю то, что он думал, и это вызывает во мне чувства, мои собственные чувства такой силы, что на глазах я ощущаю слезы.

Преодолевая робость неуверенности, я призываю все свое мужество, чтобы выразить предположение, что и в других произведениях искусства изображаются не самые чувства

человека, а лишь те жизненные обстоятельства, предметы, явления, мысли, формы, краски и звуки, которые вызвали какие-то переживания художника и потому, по-видимому, способны вызвать такие же или похожие мои собственные переживания.

Быть может, поэтому писатель никогда не может быть уверен, что изображенное им явление вызовет у читателя точно такие же чувства, какие пережил он сам. Быть может, поэтому одно и то же произведение вызывает у разных читателей разные чувства. А бывает и так, что еще вчера какое-то произведение взволновало меня до слез, а сегодня оно оставляет меня совершенно спокойным.

Я думаю, что писатель и читатель никогда не могут объясниться до конца. Писатель не знает, что буду переживать я, читая его произведение, а я не знаю, что переживал он, когда это произведение писал. Переживания писателя и читателя связаны только общностью творческого процесса. Творческий процесс, по всей вероятности, начинается с переживания писателя, а заканчивается переживаниями читателя.

Но если это предположение верно, то писатель — не винодел, а горшечник. Он создает сосуд, который читатель наполняет вином своих чувств, своего опыта, своего интеллекта. И если произведение писателя оставляет меня равнодушным, то в этом не всегда, быть может,

виноват писатель. Горшечник не виноват, если у меня нет вина и сделанный им сосуд остается порожним. Горшечник не виноват, если я наполню сделанный им сосуд вином прокисшим как уксус. Горшечник не виноват, если я наполню сделанный им сосуд не вином, а водой.

Каждый сам выбирает для своего вина подходящий сосуд. Одному нужен сосуд на сто литров, другому — на сто граммов. Одному нужен Лев Толстой, другому — Лев Ошанин.

10

Нет, я не мог бы стать критиком. Я не знал бы, кого критиковать: писателя или читателя. Я считаю их обоих участниками одного творческого процесса. Один начинает, другой заканчивает. А между ними иногда находится герой литературного произведения. Он стоит посередине — плод их совместных творческих усилий. Писатель в процессе писания как бы воплощается в своем герое. Читатель в процессе чтения тоже как бы воплощается в героя.

Когда я читаю о Наполеоне Бонапарте в учебнике истории, т.е. в произведении, предназначенном для передачи идей и фактов, а не для возбуждения чувственных переживаний, Наполеон стоит передо мной как бы на пьеде-

стале. Он — как экспонат на выставке или в музее. Я рассматриваю и оцениваю его поступки, мысли, характер, я подвергаю их разумной критике и твердо знаю, что Наполеон — это Наполеон, а я — это я.

Иное происходит со мной, если я обращаюсь к художественному произведению. В романе Толстого Наполеон существует не сам по себе, а как бы становится той оболочкой, которую я должен наполнить своими чувствами. И хотя мой разум все время дергает меня за пиджак, напоминая, что я не Наполеон, но чувство нередко побеждает разум, и, вопреки здравому смыслу, я начинаю сопереживать с Наполеоном. Но Лев Толстой относится к Наполеону критически и чуть насмешливо. И вот на арену нашего сотворчества выступает еще один участник, и тут начинается захватывающая игра, где критическое отношение к герою борется с сочувствием, они бросаются друг на друга, они сплетаются и стискивают друг друга враждебными объятиями. Потому я могу осуждать Наполеона, смеяться над ним, даже ненавидеть его, как, бывает, иногда я осуждаю себя, смеюсь над собой, ненавижу себя, но если я не сумею в какой-то степени ощутить себя персонажем книги, то все очарование художественного произведения пропадает.

Так я оказываюсь на пороге нового чуда: волнующей тайны того доверия, которое я питаю к произведениям искусства.

11

Меня всегда удивляло, что я, нетерпимый ко всякой несправде, негодующий, если обнаружу неправду в научном сочинении, или в частном письме, или в застольном разговоре, никогда не чувствовал негодования и протеста по поводу той неправды, которой пропитана сказка о Красной Шапочке и Сером Волке.

Почему же это так?

Стараясь в этом разобраться, я спрашиваю у себя:

”Если я мог ощутить себя Наполеоном Бонапартом, то почему же я не могу ощутить себя Красной Шапочкой или Серым Волком? Разве моему здравому смыслу легче вознести меня на престол императора Франции, чем привести к кровати, на которой лежит Серый Волк в бабушкином чепце?”

Нет, не легче.

Мой здравый смысл протестует каждый раз, когда художественное произведение вызывает во мне слишком сильные чувства. Мой здравый смысл возмущается, если я чувствую на своих глазах слезы, читая о смерти Андрея Болконского. ”Чего ты плачешь? — кричит мне

мой здравый смысл. — Ведь он тебе не сын, и не брат, да его и не было никогда на свете, его Лев Толстой сочинил”. Но я и сам это отлично понимаю, и все-таки мое сердце сжимается так, как будто он мне сын или брат, или будто это я ранен и я умираю.

Но тут я хочу привлечь твое внимание к одному странному, хотя и всем известному явлению.

Допустим, что какой-нибудь советский писатель изобразит одинокого рабочего паренька, который имеет отдельную квартиру из трех комнат:

Я закричу:

”Ложь! Рабочие пареньки так не живут. Так не бывает”.

Но если писатель посадит того же самого паренька на атомный ракетоцикл и пошлет его на Марс, и там, на Марсе, поселит его в марсианском дворце — одного в четырехстах комнатах, то это не вызовет у меня ни возмущения, ни протеста, и мне даже в голову не придет назвать эту книгу лживой, будто в наше время одинокому рабочему пареньку легче улететь на Марс, чтобы получить отдельную трехкомнатную квартиру.

Почему же в первом случае я подошел к книге с той меркой правдивости, которую применяю в действительной жизни, а во втором случае отбросил эту мерку и применил какую-

то иную, противоречащую моему опыту и рас­судку?

Я думаю, что это произошло потому, что в первом случае автор написал то, что вполне может быть, хотя и не бывает, и, допустив в своей книге эту маленькую неправдочку, он изображает весь остальной мир таким, каким знаем его мы с тобой. Во втором же случае автор написал такое, что сегодня еще совершенно неосуществимо. Это настолько большая неправда, что она разрушила тот мир, который мы знаем, и как бы создала какой-то другой мир, в котором каждый паренек может слетать на Марс и обратно и пожить в марсианском дворце.

Следовательно, далеко не все произведения искусства я оцениваю в соответствии с правдой действительной жизни. Если бы все произведения искусства я измерял только этой меркой, то мне пришлось бы выбросить из литературы все сказки, всю фантастику, весь классический эпос, да, пожалуй, "Войну и мир" тоже, потому что существовавший в действительности Александр I так же не мог встречаться с несуществовавшим в действительности Николаем Ростовым, как братец Иванушка не мог превратиться в козленочка.

"Тогда, быть может, — спросил я у себя, — в жизни одна правда, а в искусстве другая?"

Но прежде чем ответить себе на этот вопрос, я продолжал такой смешной опыт: я взял сказ-

ку о сестрице Аленушке и братце Иванушке и перенес в нее из "Войны и мира" умного медлительного и внимательного Пьера Безухова. Я перенес его в сказку бережно, чтобы ничего не потерять по дороге — ни его характера, ни его рассудительности, ни очков, ни образования. И Пьер Безухов показался в этой правдивой сказке нелепым и оскорбительно лживым вымыслом, все равно как паренек, получивший отдельную трехкомнатную квартиру. Пьер не мог ужиться с четвероногим рогатым Иванушкой. Никак.

Этот опыт натолкнул меня на предположение, что Пьер Безухов правдив и достоверен не сам по себе, не только потому, что такой Пьер мог бы существовать в действительности, а, главным образом, потому, что он живет среди Болконских и Ростовых, а если бы мы перенесли его в сказку об Аленушке, или в "Сорочинскую ярмарку", или в "Руслана и Людмилу", то он, думается, потерял бы свою достоверность и правдивость.

Я подозреваю, что нет единой правды для всех произведений искусства, и то, что правдиво у Рабле, будет лживым у Толстого, а то, что правдиво у Шекспира, будет лживым у Ибсена. Для каждого произведения, по-видимому, требуется свой собственный реализм, своя собственная правда, свойственная только этому произведению.

Но в чем же она состоит, эта, особая в каждом случае, правда? И как отличить тогда правду от неправды?

Я долго не мог этого понять, пока не помог глупый случай. Это было еще тогда, когда я работал в газете. Однажды потребовалось опубликовать портрет известного ученого. У меня было два его снимка. На одном — ученый был сфотографирован без ордена, но очень хорошо получилось его лицо. На другом снимке лицо почти не пропечаталось, но на груди был отчетливо виден орден Трудового Красного Знамени. Я вырезал этот орден и наклеил его на другой снимок. Когда я это сделал, то орден показался мне величиной с блюдце. И вдруг я понял такую простую вещь, что единственная правда в искусстве, а может быть, и не только в искусстве, — это соответствие всех частей целому.

Мне представилось, что, создавая художественное произведение, художник каждый раз творит особый мир, с особым пейзажем, особым климатом, особым народонаселением, особой архитектурой, особыми законами природы и общества.

В том мире, например, где живет бабаяга, существует своя архитектура (домики на курьих ножках), свой транспорт (ступа и помело), свое население (черти и лешие).

Такой же, или совсем иной, но особенный мир может создать художник вокруг любого героя или любых событий. Если этот герой или события будут соответствовать правде окружающего их мира, если в этом мире никого не удивляет, что волк разговаривает по-человечески, или что Иванушка может быть превращен в козленочка, то и я не почувствую удивления и буду сопереживать с героями, и наплюю на свой здравый смысл, который будет нашептывать мне, что таких событий в жизни быть не может.

12

Я хотел объяснить тебе, чем хорошее произведение литературы отличается от посредственного, но не сумел этого сделать, да и мне этого до сих пор не объяснил ни один критик и литературовед.

Может быть, это произошло потому, что логическое размышление так же мало помогает постичь суть произведения искусства, как химический анализ красок не объясняет прелесть картины великого живописца. Так мерами длины нельзя измерить веса. Так, к зверю нельзя применить критериев дерева, а к дереву – критериев облака. Даже Белинский, пытаюсь определить суть поэзии, забыл, что он – критик и мыслитель и должен оперировать понятиями

разума и логики, и вдруг стал поэтом, по-видимому, угадав, что суть поэзии можно передать только ничего не объясняющим языком самой поэзии.

”Поэзия – это невинная улыбка младенца, его ясный взор, его звонкий смех и живая радость, – писал Белинский. – Поэзия – это стыдливый румянец на ланитах прекрасной девушки, кроткий блеск ее глубоких, как море, как небеса, голубых очей, или яркий огонь ее черных глаз, волны кудрей, разбежавшихся по ее мраморным плечам, волнение ее нежной груди, гармония ее стана, художественная рельефность и роскошь ее живых форм, грациозность и нега ее пленительных движений... Поэзия – это огненный взор юноши, кипящего избытком сил, это его отвага и дерзость, его жажда желаний, неудержимые порывы его, стремление сжать в пламенных объятиях и небо и землю, разом осушить до дна неистощимую чашу жизни... Поэзия – это светлое торжество бытия, это блаженство жизни, неожиданно посещающее нас в редкие моменты, это упоение, трепет, мление” и т.д. и т.п.

Прочитав это пленительное признание великого критика в том, что он так же не может объяснить суть поэзии, как не могу этого сделать я, я несколько утешился и стал на старости лет разнузданно предаваться безрассудному удивлению и восхищению. Храм

искусства стал для меня Храмом чудес. Чудо, что художник владеет колдовским средством обновления всех предметов, явлений, мыслей и чувств. Чудо, что произведение искусства – это запечатленное и материализованное отношение человека к миру. Чудо, что в мертвое слово, в мертвую линию, в мертвый звук искусство вдыхает жар и трепет действительной жизни. Чудо, что художник может заставить меня сопереживать с императором Франции, или никогда не существовавшим в действительности Андреем Болконским, или с братцем Иванушкой, превращенным в козленочка.

Это последнее чудо, быть может, наиболее изумительное. Оно разрушает ограничительную силу пространства и времени. Художник может перенести меня из одного века в другой, из прошлого в будущее, может перебросить меня в другую страну или на другую планету. Он может задержать течение времени, т.е. заставить меня целый час переживать событие, которое длилось одно мгновение и может ускорить течение времени, и прервать его, и направить вспять.

Вовлекая меня в сопереживание и сочувствие, художник прошлое и будущее как бы превращает в настоящее, а настоящее обобщает до степени исторического. Искусство сильнее времени и пространства – оно преодолевает их. А человек, преодолевший ограничительную силу

времени и пространства, уже наполовину наделен свободой.

Но только наполовину. Другая половина — это дистанция между "хочу" и "могу".

"Хочу" и "могу". Мне представляется, что между этими двумя утесами зажаты каждый человек и все человечество в целом, и все горести и радости. Преодолеть дистанцию между "хочу" и "могу" — задача всех наук, всех искусств, всей деятельности. Чем меньшая дистанция между всеми "хочу" и всеми "могу", тем больше у человека свободы, потому что абсолютная свобода — это, наверное, возможность удовлетворить все свои желания. Но удовлетворить их невозможно. Желания человека ограничены законами физики, химии, биологии, механики. Они ограничены социальными и историческими условиями, чувством долга, правилами общежития и множеством других обстоятельств, которые можно назвать одним словом: действительность.

Мне думается, что только воображение позволяет человеку в наибольшей степени преодолеть рамки действительности, выйти за пределы существующего, представить себе то, чего никогда не было, и даже то, чего не может быть. А воображение — это основа всякого искусства. И всякого творчества.

Творить — это значит создавать новое, такое, чего еще не было в мире. Но, чтобы соз-

давать новое, надо обязательно преодолеть старое, расширить рамки, вырваться за пределы. Это, наверное, и есть свобода. Пассивной свободы, по-моему, не существует. Свобода всегда активна, свобода – всегда работа. Это не состояние, а действие; преодоление, расширение, созидание.

Быть может, свобода и творчество – это одно и то же. Быть может, подлинное творчество в любой области деятельности – всегда проявление свободы, а подлинная свобода – всегда проявление творчества. Иногда мне даже кажется, что свобода не имеет в практической жизни никаких иных проявлений, кроме творчества. Чем больше человек – творец, тем более он свободен, и чем более он свободен – тем более творец. А другое мерило свободы мне пока еще неизвестно. И творчества – тоже.

ПОТОП

Я старый человек. Многие старики моего возраста кичатся своим жизненным опытом. Но если бы опыт одних мог чему-нибудь научить других, то поколение за поколением не повторяли бы одни и те же ошибки и злодеяния.

Я стыжусь своей старости, изнемогаю от тяжелой вины перед сыновьями и внуками. Моя вина отягощена виной моих отцов, дедов и прадедов. Мы не сумели уберечь нынешнее поколение от нового всемирного потопа. Только на этот раз материки захлестнуты не водой, а кровью.

Всю ночь не гаснет в моей комнате зловещий огонек радиоприемника. Сквозь свист, хрипы, музыку и речи я слушаю плеск кровавых волн нового потопа: физики испытывают атомное оружие. Над облаками мчатся боевые ракеты. Религиозные войны, как во времена средневековья, пылают в Европе, Азии и Африке. Воздушные пираты захватывают самолеты. Террористы среди бела дня похищают людей и взрывают бомбы на улицах, в магазинах и ресторанах. Дипломаты пытаются

ся договориться о сокращении — не о запрещении, а только о некотором сокращении — апокалиптических средств массового убийства людей.

А в это время ученые, писатели и журналисты многословно обсуждают возможные последствия экологического кризиса — загрязнения воздуха, моря, истребления некоторых видов животных. Но почти не слышно ни в печати, ни по радио, что в мире уже разразился другой кризис, более грозный и ужасный — этический кризис, кризис нравственности и морали. И даже священники всех вероисповеданий спокойно произносят те же молитвы и выполняют те же ритуалы, как сто и двести лет назад, по-видимому, примирившись с тем, что взаимоотношения между людьми погрузились в небывалую пучину безнравственности и злодеяний.

Животные убивают других животных только ради пищи и самозащиты. Они не подвергают себе подобных ни пыткам, ни унижениям. Мы же подвергаем друг друга пыткам, унижениям и убиваем не только ради пищи и самозащиты, но еще за социальные или религиозные идеи, за власть, за славу, за сенсацию, за цвет кожи, за национальную принадлежность и просто без всякой причины.

Я, как и многие другие люди, считаю себя человеком религиозным. Религия моя очень

проста. Она заключается в том, что я доверяю своему сердцу. А мое сердце многих любило, многих любит и никому не желает зла. Даже моим недругам. Конечно, в моей длинной жизни немало случаев, когда обижали меня или моих близких. Но, во-первых, когда я родился на свет, то никто не обещал мне, что все живые существа будут относиться ко мне и моим близким дружески и доброжелательно. Во-вторых, чем больше я жил на свете, тем больше убеждался, что моя злоба – менее надежный защитник от злобы других, нежели снисходительное желание понять злобу другого и противопоставить ей свою доброжелательность.

Моя религия никем мне не продиктована: ни Христом, ни Моисеем, ни Магометом. Она не требует от меня никаких ритуалов, не нуждается ни в священниках, ни в храмах. Это церковь, которая находится не вне меня, а во мне самом. Она, к сожалению, не объединяет меня ни с людьми, исповедующими христианство, ни с людьми, исповедующими иудаизм, или ислам, или буддизм. Она ни с кем не объединяет меня, наоборот – оставляет меня совершенно одиноким – один на один со всем миром, оставляет беспомощным и беззащитным.

Но если допустить, что есть Бог, и что я создан по его образу и подобию, то кто же на

свете более одинок, беспомощен и беззащитен, чем Бог? Кто ему мог помочь, когда он создавал мир? Поэтому, может быть, мир и получился таким несовершенным, исполненным зла и несправедливости. И я тоже, одинокий, беспомощный и беззащитный, очень стараюсь сделать все, что могу, чтобы людям, хотя бы нескольким из них, хотя бы двум или трем, было хоть чуточку лучше. Но и это мне почти не удается.

Как и все другие люди, я – существо стадное. Но моя религия не стала мне ни пастухом, ни сторожевой собакой. Она освобождает мое сознание от природно-животного чувства стадности, возлагает на меня одного, как и на каждого другого человека, всю полноту ответственности за наши поступки, весь отчаянный риск самостоятельного выбора решений. Для этого каждому из нас приходится самостоятельно оценивать и опыт других, и доводы разума, и шепот своего сердца.

Мне кажется, что все государства, все партии и все религиозные общины готовы снять с человека личную ответственность за его поступки. Они оправдывают любое злодеяние высшими, сверхличностными интересами общины – государственной, идейной или церковной. Но любой образ жизни, построенный на интересах общины, вызывает в моей памяти сталинизм, а в моем воображении – муравьев

или пчел. Нет, я не могу примириться с ролью винтика, пчелы или муравья.

Быть может, мое недоверие к любому объединению можно объяснить тем, что я почти всю свою жизнь прожил в стране, где обожествляется коллективизм, общность, государственность, и тем самым обесценивается жизнь одного человека, а только ни с чем несоизмеримая ценность каждого человека является, на мой взгляд, единственной основой этики и нравственности.

Я понимаю, что моя религия несовершенна, что каждый религиозный человек находит для себя ту религию, которая представляется ему наиболее убедительной и по возможности ограждает его от зла. Я понимаю тех людей, которые, вместо того, чтобы полагаться на свое сердце — такое необразованное и неразумное, — предпочитают войти в уже готовый храм, созданный их предками. Во-первых, от них уже ничего не требуется, кроме соблюдения неких ритуалов и послушания пророкам и священнослужителям. Во-вторых, насколько увереннее чувствует себя группа людей под единым шатром, сгрудившись там и прижимаясь друг к другу, чем я — один, в голое поле, под суровым небом, постоянно обрушивающим на меня то ливень, то грозу, то палящие лучи солнца. Но у Господа Бога, — рассуждаю я, — тоже нет над головой шатра.

Ему тоже не к кому прижаться. У него тоже нет ни опоры, ни помощи, ни защиты.

Я никого не хочу обратить в свою веру. Своим горьким признанием в одиночестве и неслиянности с другими я стараюсь лишь объяснить, почему не могу вступить под кровы ни одного храма, созданного вне меня и надо мной: христианство породило костры инквизиции и крестовые походы. Ислам исполнен ненависти к "неверным". Иудаизм призывает побивать камнями ослушников. А мое сердце говорит, что каждый камень, брошенный в другого, попадает в Бога. Каждая пуля, выпущенная во имя Бога, убивает Бога. Каждая война, объявленная в защиту любой идеи, побеждает эту идею.

Мне некого, кроме себя, винить в новом потоке, в кровавом потоке, залившем землю. Это я вместе с другими интеллигентами разных стран — учеными, писателями, художниками, педагогами — хранителями интеллекта и духовности — сотрудничаю в той или иной форме с политическими и государственными деятелями. Между тем, профессиональные политики не производят ни духовных, ни материальных ценностей. Профессиональная политическая деятельность — это ремесло, ремесло прибыльное и безнравственное. Оно приносит деньги и власть. Как известно, деньги и

власть больше всего привлекают подонков. Я думаю, что почти всеми государствами сейчас управляют подонки общества. Если даже они сами не истязают свои народы, то вкладывают нож в руки убийцы и держат жертву, пока ее истязает насильник. Политические деятели почти всех стран мира забрызганы кровью, пролитой Муссолини, Гитлером, Сталиным и другими палачами.

Я думаю, что политическая власть нравственна только в том случае, если она совершенно бескорыстна и не дает ее носителям никаких преимуществ перед другими; если это тяжесть, взваленная на себя человеком только из чувства любви к другим, тяжесть, взваленная поверх той тяжести, которая взвалена на плечи любого другого гражданина страны. Такой власти никто не станет добиваться ни силой, ни хитростью.

Но пока я о таких властителях не слышал. Поэтому в дьявольской вселенской игре, которая называется дипломатией, утрачено всякое представление о порядочности, чести, нравственности. Эта игра ведется на залитой кровью шахматной доске, но вместо деревянных фигурок на ней разыгрывается жизнь ни в чем не повинных мужчин, женщин, детей и стариков, негритянских племен, азиатских народов, еврейского народа, арабов.

Больше тридцати лет назад кончилась война с фашистской Германией. Тогда думали, что фашизм побежден. Теперь ясно, что фашизм победил — победила безнравственность, победило насилие, победила бесчеловечность. Под разными наименованиями фашизм овладел почти половиной мира и диктует другим народам свои условия.

До утра не меркнет огонь в моей комнате. Я слушаю радио, читаю газеты, журналы, книги. И тревожно бьется мое усталое сердце.

Оно захлестнуто словами, миллионами слов. Оно уже не вмещает их, перенасыщено словами. Миллионные тиражи газет и журналов, сотни тысяч названий книг, радио, телевидение, кино наполнили мир таким количеством слов, что мы уже не слышим ни других, ни самих себя. Воспроизведенное механическими средствами, бесконечно повторяемое, лишенное одухотворенности слово утратило всякое реальное содержание.

Я читаю: "Справедливые и свободолюбивые народы всего мира считают идеи чучхе самым прекрасным, самым благоухающим цветком. Только враги народных масс не считают идеи чучхе цветком" (журнал "Корея сегодня", №5, 1975).

Я не знаю, что такое чучхе. И никто из моих друзей тоже не знает. Я не нашел этого слова ни в словаре, ни в энциклопедии. Но

Это не имеет никакого значения. Можно заменить слово "чучхе" словом "добро" или "свобода". Гитлер и Томас Манн придали бы каждому из этих слов противоположное значение. Но не только слово "чучхе", но и все другие слова приведенной мною цитаты — "цветок", "враги", "массы", "народы", так же как и все другие слова, которые я сейчас пишу на этой странице, не имеют никакого реального содержания, и каждый читатель может придать им то значение, которое захочет.

И вот такими словами, вернее, такой шелухой, из которой давно выпало зернышко содержания, перенасыщен мир.

Слово, как я думаю, только тогда сохраняет свое подлинное содержание, когда оно одушевлено человеческими чувствами, окрашено личностью, страстью, болью, радостью или гневом, отмечено единственностью и неповторимостью интонации и сочетания с другими словами. Но такой способностью одушевлять слова обладают только поэты и пророки. И то, лишь в том случае, если их слово попадает в подходящую почву и расцветает там как цветок, а не умирает, становясь песчинкой в громадной пустыне окружающих нас безличных и неодушевленных слов.

Уважая религиозные чувства всех верующих, как и теоретические рассуждения атеистов, я все же не могу скрыть, что нередко

мне кажется, будто размноженное всеми способами слово, вернее, многословие: молитвы, псалмы, проповеди, речи, статьи, монографии, — чем-то стало напоминать массовую фабричную продукцию, из-за чего все наиболее распространенные религии, так же как и разумные идеи, лишились их самой главной сущности, т.е. нравственного чувства, иначе говоря, сочувствия одного человека другому.

Но чувство нельзя навязать ни убеждением, ни угрозой, ни долгом, ни служебным положением. Я могу сочувствовать, а тем более любить, только по велению своего сердца, причем — одного любишь, а другого нет. И с этим уж ничего не поделаешь.

Я не могу любить все человечество, или всех сородичей, или всех единомышленников. Во-первых, и человечество, и сородичи, и единомышленники — это сумма людей. Но сложение, так же как вычитание, умножение и деление, — проявление разума, а не чувства. Во-вторых, каждый человек — явление, никогда не существовавшее прежде, неповторимое в будущем, сверхценное и несоизмеримое с другим человеком. Так мать любит своих детей. Так дети любят мать. Так один человек любит другого или других избирательной любовью своего чувства.

Но эта сверхценность и несоизмеримость каждой человеческой жизни в наше время

становится все призрачней. Население земного шара растет с невероятной быстротой. Мы, старики, не хотим умирать, и медицина помогает нам все тянуть и тянуть эту уже никому не нужную резину. Женщины рожают, как из пулемета. Акселерация превращает девочек в женщин раньше, чем у них появляется менструация, а мальчики готовы свои первые капли спермы употребить на увеличение нашего поголовья. Каждую неделю в мире рождается свыше миллиона человек. К концу XX века, по предсказанию ученых, население земного шара удвоится.

Когда я хочу соотнести себя со всем человечеством в виде дроби, то мой числитель (единица) оказывается таким ничтожным, по сравнению с многомиллиардным знаменателем, что с этим числителем, т.е. со мною, можно вообще не считаться. И с каждым днем знаменатель становится все больше и больше, так что ценность одной человеческой жизни становится все меньше и меньше.

Не по этой ли причине в наше время, совершенно неожиданно, общечеловеческое стадо, не только стремительно растущее, но также стремительно и нивелирующееся, почувствовало особую потребность разбиться на множество мелких стад, и во всем мире вспыхнуло небывалое пламя национализма.

Негритянские племена Африки, вооруженные уже не луками и копьями, а танками и дальнобойными орудиями, превратили свои племенные междоусобицы в кровавые войны на полное уничтожение одних племен другими. В центре цивилизованной Европы ведется религиозная война между католиками и протестантами. В Ливане — между христианами и магометанами. В Палестине — между арабами и евреями. В Югославии все разрастается вражда между сербами и хорватами. В Испании — между басками, андалузцами и каталонцами. В Советском Союзе растет национальное самоутверждение русских, украинцев, грузин, армян, эстонцев, латышей, литовцев, крымских татар, евреев.

Я тоже еврей. Моя родина — Россия. Мой родной язык — русский. Почти все мои друзья — русские. Только черты лица и черты характера у меня еврейские. И по этой причине с каждым годом я все больше и больше чувствую себя на своей родине изгоем.

Но мое сочувствие почему-то почти всегда на стороне изгоев. Джордано Бруно был сожжен. Лев Толстой отлучен от церкви. Спиноза отлучен от синагоги. Сократ присужден к самоубийству. Эйнштейн изгнан с родины. Мандельштам погиб за колючей проволокой. Иисус распят на кресте. "Поэты — жида!" — писала Марина Цветаева о себе.

Я не знаю того средства, которое может спасти человечество от жесточайшего нравственного кризиса, поразившего нашу планету. Герберт Уэллс писал, что если несколько поколений детей будут изучать в школах не истории государств, народов и религий, их побед и поражений, а всеобщую историю разума, духа и нравственных ценностей единого человечества, то мир станет другим.

Может быть.

И вот я сижу в своей комнате и плету черные кружева невеселых размышлений.

И в отчаянии заламываю руки и спрашиваю своего Бога: что я должен делать в этот час?

И мой Бог, одинокий, незлобивый и беспомощный, скрипит мне в ответ астматическим голосом моего изношенного сердца.

— Опустит руки и оставь свои библейские вопли. Разве ты лучше других? Или праведник, чтобы учить? Сними обувь, засучи штаны и ступай туда, где тебя не оттолкнут.

— А где меня не оттолкнут? — спрашиваю я. — Кому я нужен со своим грузом сомнений, вины и гонимости?

И мое сердце отвечает:

— Ты — старый еврей. Тебя не оттолкнут только в одной стране. Она не лучше и не хуже других, но там ты не будешь изгоем. И, может быть, тебе еще удастся укрыть на сво-

ей груди хоть одного ребенка, протянуть руку помощи хоть одной женщине, приободрить хоть одного старика, спасти жизнь хоть одному юноше. А один – ведь это так много!

Ленинград.
1976 г.

